



**Борис Александрович Подопригора
Андрей Дмитриевич Константинов
Если кто меня слышит.
Легенда крепости Бадабер
Серия «Мастера криминальной прозы»**

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18038023

Если кто меня слышит (Легенда крепости Бадабер): Издательство АСТ; М.; 2016

ISBN 978-5-17-096474-1

Аннотация

В романе впервые представлена подробно выстроенная художественная версия малоизвестного, одновременно символического события последних лет советской эпохи – восстания наших и афганских военнопленных в апреле 1985 года в пакистанской крепости Бадабер. Впервые в отечественной беллетристике приоткрыт занавес таинственности над самой закрытой из советских спецслужб – Главным Разведывательным Управлением Генерального Штаба ВС СССР. Впервые рассказано об уникальном вузе страны, в советское время называвшемся Военным институтом иностранных языков. Впервые авторская версия описываемых событий исходит от профессиональных востоковедов-практиков, предложивших, в том числе, краткую «художественную энциклопедию» десятилетней афганской войны. Творческий союз писателя Андрея Константинова и журналиста Бориса Подопригоры впервые обрел полноценное литературное значение после их совместного дебюта – военного романа «Рота». Только теперь правда участника чеченской войны дополнена правдой о войне афганской. Впервые военный роман побуждает осмыслить современные истоки нашего национального достоинства. «Если кто меня слышит» звучит как призыв его сохранить.

Содержание

Часть I	5
1	5
2	15
3	24
4	32
5	38
6	48
7	58
Часть II	63
1	63
Конец ознакомительного фрагмента.	70

**Андрей Дмитриевич Константинов,
Борис Александрович Подопригора
Если кто меня слышит
(Легенда крепости Бадабер)**

© А. Константинов, Б. Подопригора, 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Часть I ВИИЯ

1

С раннего детства обнаружилась у Бори Глинского одна любопытная особенность – он совершенно не тяготился одиночеством. Нет, мальчишка рос совершенно нормальным, мог и со сверстниками поиграть во дворе, и взрослых не дичился, в общем, как бы выразились во времена уже не советские, «аутизмом и социопатией» не страдал. Но супругам Глинским частенько приходилось оставлять малыша дома совсем одного – в тех замечательных местах, где прошло дошкольное детство Бориса, с детскими садами и яслями были, мягко говоря, проблемы. Отец Бори, Владлен Владимирович, получил к моменту рождения наследника звание подполковника. Кадровый офицер-фронтовик – на его кителе, помимо прочего, были нашиты две красные и одна жёлтая нашивки за ранения, – Глинский-старший, как выражались в те далекие годы, «ковал ракетный щит Родины». А мама Бориса, Надежда Михайловна, была врачом. Причём потомственным.

Так вот, поскольку до полковничьих звезд Владлена Владимировича семья Глинских систематически меняла полигоны-«почтовые ящики», Боре действительно часто приходилось оставаться одному в служебной квартире – отец, ясное дело, с утра до ночи на службе пропадал, а маму частенько дёргали, потому что в тех укромных местах хороших солдат и офицеров было во много-много раз больше, чем хороших врачей. Так что Надежда Михайловна, официально не работавшая, была более чем востребована и авторитетом пользовалась чуть ли не таким же, как подполковник Глинский. И если поначалу, убегая на вызов, Надежда Михайловна как-то пыталась пристроить малыша какой-нибудь офицерской жене-соседке, то вскоре, после пары безвыходных ситуаций, она заметила, что её Боренька может замечательно поиграть дома и один. Сын спокойно находил себе какие-то занятия, не кричал, не плакал, не разбрасывал вещи и не бил посуду – в общем, не выказывал свой детский протест. А ведь Надежде Михайловне, бывало, приходилось убежать не на пару часов, а аж на полдня – и ничего. Однажды (Боре тогда исполнилось пять) Глинскую слёзно умолили выехать на сложный случай километров за шестьдесят от гарнизона. На обратном пути Надежда Михайловна уже вся просто извелась в мыслях о не кормленном, брошенном ребёнке. Но когда она вбежала в квартиру, маленький Боря сидел за столом и ел борщ, который умудрился и сам разогреть на плите, и аккуратно налить себе из кастрюли в мисочку. Правда, эту мисочку из-за ветхости накануне отдали коту-персу по кличке Слон. Надежда Михайловна только ахнула, а ночью с гордостью рассказывала всё мужу. Глинский-старший лишь одобритительно хмыкнул.

В одиночестве и тишине Боря подолгу рассматривал награды на парадном отцовском мундире. Их было много, только орденов Красной Звезды целых три, а уж медалей... Боря осторожно дотрагивался пальчиками до орденов и грезил, пытался представить себе подвиги, совершенные отцом. Дело в том, что Владлен Владимирович категорически не любил говорить о войне и от вопросов сына, типа «пап, а за что тебе вот этот орден дали?», либо отшучивался, либо отмахивался. Боря сначала обижался, а потом привык, расспрашивать перестал, зато научился фантазировать, рассматривая награды. Они казались ему невероятно красивыми. Красивее, чем ёлочные игрушки.

У мамы, кстати, тоже были награды с войны – две медали – «За взятие Будапешта» и «За Победу над Германией». Они лежали в бархатной коробочке из-под часов в комоду,

но Надежда Михайловна их почему-то никогда не надевала. Никогда. Даже на 9 Мая. Даже когда однажды отец её осторожно попросил об этом. Глинская лишь покачала головой, и отец, вздохнув, сменил тему. Войну Надежда Михайловна тоже вслух почти не вспоминала, и Борис лишь случайно, когда в гости к Глинским пришли давние сослуживцы, за шумным застольем узнал, что родители его познакомились как раз на войне. Потом историю их знакомства и развития отношений Борис складывал буквально по крупицам из обрывков разговоров, из найденных всё в том же комодке нескольких писем, почему-то сложенных треугольниками. Спрашивать напрямую Борис стеснялся. Постепенно в его голове укоренилась такая версия: мама была медсестрой и познакомилась с отцом, когда вытаскивала его раненого с поля боя. Много позже выяснилось, что всё было не так. Уже заканчивая школу, Боря узнал, что родителей мамы, врачей, репрессировали накануне войны. Саму Надежду Михайловну, можно сказать, спас фронт. Отношения с Глинским у неё завязались ещё до его тяжёлого ранения. А потом они надолго потеряли друг друга из виду. Владлен Владимирович кочевал по госпиталям, а в жизни мамы появился другой человек, тоже офицер. Он погиб в сорок пятом – как раз под Будапештом. Как маме, дочери сразу двух «врагов народа», удалось восстановиться в мединституте, Борис так и не узнал. Вроде какой-то генерал – начмед фронта помог...

А потом они снова встретились уже в начале пятидесятых. Над Надеждой Михайловной тогда сгустились тучи. Она однажды дежурила по госпиталю и, чтобы скоротать время, позвонила знакомой провизорше в аптеку. Аптеки, кстати, тогда дежурили круглосуточно, и их, что любопытно, сплошняком телефонизировали. Так вот, аптекарша продиктовала Наде ребус-шараду:

– Нарисуй рожицу с волосами. Над ней – утюг... Нарисовала?

– Ну...

– А внизу напиши: «папа-мама».

– Ну написала...

– А теперь оба этих слова жирно зачеркни.

– Зачеркнула.

– И что получилось?

– Да ничего. Глупость какая-то.

– Нет. Подумай.

– Любка, хватит! Что тут думать?

– Ну ладно. Смотри: «папу-маму» зачеркнули, значит, наша рожица – безродный.

Поняла?

– Ну и...

– А утюг над волосами – это он «космы палит». Поняла? Получается «безродный космополит».

– Ой, и дурная же ты, Любка! Дошутишься...

А с «безродным космополитизмом» тогда боролись со всей, можно сказать, классовой беспощадностью. Бумажка же с записанной шарадой попала на глаза кому-то «бдительному». А госпиталь, где работала Надежда Михайловна, обеспечивал центральный аппарат Министерства обороны. И, в общем, сначала-то закрутилось всё совсем нехорошо. Но потом несчастье помогло последующему счастью. Знакомый военный контрразведчик рассказал за рюмкой Глинскому смешной эпизод с шарадой и дурой-врачихой. Прозвучала и фамилия. Владлен Владимирович сначала решил, что это просто совпадение – однофамилица. Мало ли в России Фирсовых!

Но не поленился уточнить. Оказалось – «раннефронтная» любовь. Спас её в итоге фронтной командир Глинского, ставший уже маршалом. А фамилия у маршала была Неделин. Вот так. Ни много ни мало.

Неделин, кстати говоря, и свадьбу-то практически в приказном порядке устроил. Он любил и ценил Глинского, а потому сказал, как отрезал:

– Вот что, майор, заканчивай с холостой жизнью. Одни бабы после войны, холостяк в наше время – это, считай, несознательность, недопустимая для офицера и коммуниста. Бери свою несознательную докторшу – и в ЗАГС, перевоспитывай! А там я найду куда тебя направить...

И ведь направил же. Не обманул. Полигонной житухи Глинские похлебали полным лаптем. Но в первый класс школы Боря, сын полковника Глинского, пошёл уже в Москве, куда перевели отца. Если кто-то решит, что жить семье стало легче, то ошибётся: папу Боря, считай, совсем перестал видеть, потому что Владлен Владимирович постоянно летал на транспортниках Ли-2 «по ленинским местам». Глинский всё время «выбивал-проталкивал» какие-то «изделия» для Ленинска. А Ленинском тогда именовался, между прочим, космодром «Байконур».

Надежда Михайловна дома тоже не расслаживалась: в Москве она наконец начала серьёзно работать по специальности, и, надо сказать, не без карьерных успехов – когда Бору принимали в пионеры, у него уже не только отец стал генералом, но и мама заведовала отделением в Центральной клинической, что во врачебной среде котировалось весьма и весьма.

Впрочем, Борису и в голову бы не пришло хвастать положением своих родителей перед одноклассниками. Научиться чванству у отца или матери он не мог по определению. Мать обладала хорошим чувством юмора, и к тому же в её шутках постоянно сквозила самоирония. А ведь известно же, что у людей хвастливых и чванливых, ужаленных «звездухой», как правило, и с чувством юмора плохо, и с самоиронией вообще никак. Не иронизировала она, лишь когда подпевала под музыку из радиоприёмника (потом это назовут «караоке»): «Эй, веселей запевайте вы, соколы, армии Красной сыны».

Отец же... Он, конечно, шутил редко, был скорее суховатым человеком, но на шуточные подколки супруги реагировал адекватно, улыбался и хмыкал. Смеяться он почти не умел. Глинский-старший очень был похож на главного героя фильма «Офицеры» – не внешне, а по манерам и характеру. Парадокс заключался в том, что этот фильм отец почему-то не любил. Вернее, Борису так казалось, что не любил, потому что вслух своего мнения о фильме генерал никогда не высказывал.

Владлен Владимирович вообще не очень любил кино, в отличие от Надежды Михайловны, которая хоть и норовила высмеять почти каждую новую ленту, но при этом старалась не пропустить ни одну знаковую премьеру. Компанию ей в основном составлял, конечно же, Боря, достаточно рано пристрастившийся из-за этого к «взрослому» кинематографу. Изредка, но всё же бывало, что семья Глинских ходила в театр или в кино, так сказать, в полном составе. Один такой совместный культпоход почему-то навсегда врезался Борису в память.

Это была премьера нового фильма о войне по повести очень известного советского писателя-фронтовика. В ней рассказывалось о том, как два артиллерийских взвода держались против немецких танков. Глинские – отец и мать – оба читали эту повесть и даже спорили о ней однажды на кухне за ужином. Надежда Михайловна, как всегда, иронизировала, а генерал же не соглашался с ней и особенно напирал на то, что «с чисто военной точки зрения ситуация изложена правильно».

Вот Надежда Михайловна и расстаралась достать билеты на премьеру экранизации – мужу редко что-то нравилось из художественной литературы.

Боре фильм очень понравился. У него даже в глазах защипало в конце, когда почти все «наши» погибли. А вот генерал Глинский весь сеанс хмыкал и ёрзал, бросая сердитые взгляды на жену, многократно всхлипывавшую на протяжении фильма. Боре, правда, показалось пару раз, что мать всхлипывает от смеха...

Когда они вышли из кинотеатра, Владлен Владимирович что-то сердито пробубнил себе под нос и закурил. Боря дёрнул его за рукав шинели и громко спросил:

– Пап, а тебе понравилось? Мне – очень! А правда, они здорово жгли эти танки?

Генерал Глинский нахмурился и кивнул:

– Правда. Здорово.

Потом он помолчал, несколько раз куснул бумажную папиросную гильзу и добавил:

– Только так танки не жгут.

– Почему? – не понял Боря.

– Ну потому что не получалось их так жечь, – пожал плечами отец, явно не желавший давать более развёрнутые комментарии. Надежда Михайловна не выдержала и всхлипнула еще раз:

– Ой, не могу! Как ты тогда говорил: «С чисто военной точки зрения...»

– Так это ж я про то, что написано было, а не про то, что снято. Написано было правильно.

– Да-да-да, – притворно согласилась мать, блестя глазами. – Особенно про любовь. Так трогательно. И главное, так достоверно. Прямо вот смотрела я на эту медсестричку и себя вспоминала.

– На-а-а! – сердито дёрнул седым усом генерал.

– Ну да, – хмыкнула Надежда Михайловна. – Любовь на войне – это вопрос не военный, а гражданский.

Вроде бы даже какой-то подтекст был в этой её реплике, потому что генерал как-то странно отвернулся и, явно чтобы сменить тему, сказал Борису:

– Больше читай, Борюша. Режиссёры, как правило, портят хорошие книжки.

Надежда Михайловна мужа поддержала:

– Не всегда, но часто. А исключения только подтверждают правила. Если научишься правильно читать – будешь своё кино снимать и видеть.

– Как это? – не понял Боря.

– Очень просто. Читаешь и перестаешь видеть буквы, видишь героев и то, как разворачиваются события. Как будто в голове свой собственный фильм снимаешь. Воображение начинает стимулировать работу мозга. Вообще, сынок, чтение – это единственное, что по-настоящему развивает мозг. Это я тебе как врач говорю. Неплохо бы эту истину усвоить и ряду товарищей с военной точкой зрения.

– А вот когда мне читать? – взвился Владлен Владимирович.

– А с чего ты взял, что я именно и только тебя имела в виду? – мгновенно парировала мать.

– А... А кого тогда ещё? – обескураженно спросил «попавшийся» генерал, и Надежда Михайловна звонко рассмеялась. Боря тоже заулыбался, он посмотрел на раскрасневшуюся мать и подумал, что она очень красивая и совсем даже и не старая...

С этого разговора, наверное, и вошли по-настоящему в жизнь Бориса книги. Тем же вечером, после возвращения из кино, он попробовал «читать с воображением». У него как раз не очень шёл «Том Сойер» Марка Твена – всё никак не мог «домучить» книжку. Теперь же Боря попробовал представить себе героев вживую, подарить им лица и голоса... И ведь получилось! Не сразу, но спрятанные в строчках люди стали вдруг оживать в голове у мальчика. Постепенно он научился слышать и видеть сквозь строчки, а иногда ему даже чудились запахи той, другой жизни...

Книги так быстро «зацепили» Бору, что родители только удивлялись. Мальчик, по-прежнему не тяготясь одиночеством, читал всё подряд. Он разваливался на большом диване, обкладывался книгами и... понятия «отбой» не ведал. Читал даже предисловия к каким-то

техническим справочникам. У него появилась странная манера читать по несколько книг одновременно.

Отец этого совершенно не понимал, считал, что сын дурачится, и даже пытался проверить Борю на предмет усвоения прочитанного – в том числе и по техническому справочнику. Результаты проверки генерала очень удивили. Сын подробно и толково пересказал куски из разных книг. А по справочнику забросал отца вопросами.

Надежду Михайловну же странная манера Бориса читать несколько не тревожила. По крайней мере «как врач» она в этом ничего опасного не видела.

Правда, ограничивать Бориса в чтении всё же через некоторое время пришлось. Дело в том, что, как ни странно, любовь (скорее даже страсть) к книжкам нелучшим образом сказалась на успеваемости в школе. Боря как-то разом «просел» почти по всем предметам, за исключением литературы и истории. Да и, пожалуй, диктанты он стал писать лучше. А вот математика, физика, биология и даже физкультура...

В общем, кончилось всё визитом классной руководительницы Веры Васильевны к Глинским домой. И надо же как не повезло Боре: отец как раз дома был – редкий случай...

Родители долго пили чай на кухне с Верой Васильевной. О чём они говорили, Боря не слышал – его выставили за дверь кухни сразу же, но он понимал, что ничего хорошего этот визит, конечно, ему не сулит.

Его позвали, только когда Вера Васильевна собралась уходить, чтобы он попрощался с классной. Генерал подал учительнице плащ, она поблагодарила и, застегивая пуговицы, сказала, обращаясь, главным образом, к Надежде Михайловне:

– Это хорошо, конечно, что мальчик читает. Плохо, что он художественную литературу читает даже на уроках. И вообще, сверхобильное чтение воспитывает безволие.

Потом Вера Васильевна поправила очки и повернулась уже к Владлену Владимировичу:

– Я надеюсь, вы сумеете должным образом воздействовать на Борю. У него есть все данные, чтобы учиться не просто хорошо, но даже отлично. Только для этого нужно себя немножко заставлять. Вы, как человек военный, должны это понимать. Тем более что школа у нас хоть и английская, но требования по остальным предметам – самые обычные, не завышенные... Вот в университетской...

Про «не завышенные требования» Вера Васильевна ввернула, разумеется, намекая на генеральские погоны Глинского-старшего. Мол, при ваших-то, товарищ генерал, возможностях вы могли бы отдать сына и в школу при университете. В своей же школе Боря был единственным «генеральским сыном», да и не просто «генеральским». В те времена о принадлежности к «знати» судили не столько по служебной даче, сколько по наличию на ней телефона. Так вот: на служебной даче генерал-лейтенанта Глинского телефон был. И об этом, разумеется, знала вся школа.

После ухода классной руководительницы в квартире воцарилась нехорошая тишина, которую прорвал шумный выдох Владлена Владимировича:

– Да, сынок, спасибо. Спасибо, что папин авторитет поддержал. Спасибо, родной. Теперь все учителя твоей английской, черт бы её подрал, школы будут говорить, что у генерала Глинского сын – двоечник. Сбрендивший на книжках урод!

– Влад! – сдвинула брови Надежда Михайловна.

– А что – Влад?! Что Влад?! Тут света белого не видишь, из командировок не вылезает, думаешь, хоть дома-то... Да! Крепкий, понимаешь, тыл...

У отца бешено задёргалось лицо, и Боря даже отшатнулся к стенке, испугавшись. Последнее время нервы у генерала Глинского явно «подсели». Он чаще, чем обычно, повышал голос, раздражался, мог и матом послать. Да и чаще обычного выпивал рюмку-другую за ужином. Борис тогда не знал, что это было связано с трагической гибелью маршала Неде-

лина (того самого, спасшего мать) и ещё многих других офицеров и гражданских инженеров. Они погибли при взрыве ракеты на старте – погибли прямо на глазах у Глинского, уцелевшего воистину чудом. Неделин прямо со стартовой площадки отправил Глинского кому-то позвонить. А Боре, конечно, родители об этом ничего тогда не рассказали...

Отец метнулся в комнату и выскочил оттуда с широким потёртым офицерским ремнем:
– Выдеру как Сидорову козу!!!

До этого отец никогда Бориса не порол, и мальчишка очень испугался. Его страшила не столько физическая боль, сколько страшные, бешеные глаза отца.

– Владлен!

Мать буквально повисла у отца на руке.

– Влад, Владечка... Не надо, не надо...

Владлен Владимирович шумно выдохнул. Выронил ремень и тыльной стороной ладони вытер выступившую на лбу испарину. Мать продолжала его держать за руку и тихонько поглаживала:

– Владушка, Влад... Успокойся, успокойся... Это моя вина, это я недоглядела. Но это ничего. Мы всё исправим, всё выправим. Да, Боря?

– Да, – сказал Борис, глотая ком в горле. Потом он прерывисто вздохнул и добавил:

– Прости меня, папа... Яне хотел тебя расстраивать... Я просто не подумал.

– Не подумал... – отец понемногу успокаивался и говорил уже почти нормальным голосом, вот только левый глаз у него всё ещё подёргивался: – Не подумал... А надо думать... Ты уже достаточно взрослый, чтобы думать и понимать... Твоя учёба – это ещё и моя честь и репутация! Не смей позорить меня, ясно?

– Я постараюсь.

– Постарается он... В общем, так: никаких книжек, пока не исправишь оценки по всем предметам... Там посмотрим... И ещё, Надя... Надо отвести его в какую-нибудь спортивную секцию. Раз и по физкультуре он дохлый. Пусть, я не знаю, борьбой, что ли, займётся.

– Хорошо, – кротко кивнула Надежда Михайловна, – хорошо, всё сделаем, Владичка.

– Ладно, – уже почти совсем остыл генерал. – Иди сюда, сын.

Борис приблизился к отцу, и тот неожиданно обнял его и поцеловал в затылок:

– Ладно, ремень – это так... Нервы. Но! Ты всё же натворил делов, а потому заслужил взыскание... Так?

– Ну.

– Не ну, а так точно! – усмехнулся отец. – Ну и как тебя прикажешь наказывать? В угол поставить?

Последний раз Борю ставили в угол года три назад, и уже тогда это выглядело несколько комично. Борис не выдержал и улыбнулся, запрокинув голову и глядя снизу вверх в лицо отца:

– Ну, пап... Ну хочешь, я встану в угол.

Владлен Владимирович фыркнул и взъерошил сыну волосы на макушке:

– Нет, брат. Из угла ты, пожалуй, вырос. А чтоб по стойке «смирно» среди комнаты тебя ставить – ещё не дорос. Давай-ка... Предписываю убыть в свою комнату и выполнить команду «отбой».

– Так рано же ещё...

– Ничего. Полежишь, подумаешь. И дверь к себе не закрывай, чтоб видно было, что торшер не включаешь. А я ещё приду проверю, чтоб под одеялом с фонариком не читал... Марш!

Боря долго не мог уснуть тогда – привык уже читать на ночь. Он лежал и вслушивался в голоса родителей, доносившиеся с кухни.

– Ты, Владичка, тоже... Не переживай. Не настолько всё уж трагично. Не катастрофа.

– На-адя!

– А что – Надя? Не трагично. Эта Вера Васильевна... она... между прочим, могла бы и меня в школу вызывать. Но это же совсем неинтересно! А вот посмотреть, как генерал живёт, – другое дело... Будет потом что рассказать...

– Надя, ты же...

– Я тебя умоляю, он спит давно... Да я и не кричу. А эта учительница... Тоже мне... Что же она раньше-то в набат не била? Проснулась, что ли? В дневник Боре не писала, меня в школу не вызывала. И тут – на тебе! Пришла, понимаешь, седого генерала стыдить и воспитывать!

– На-адя... Не только меня, но и тебя, кстати.

– Ай, ладно. На меня где сядешь, там и слезешь. Я и не таких воспитателей видала. А ты прям весь рассыпался перед ней: «Ах, Вера Васильевна, ох, Вера Васильевна...» А она, между прочим, разведённая. Сама бы себя повоспитывала.

– Надя, ну это-то тут при чём?

– При том. У нас хороший сын. Очень хороший мальчик. Беспроблемный. Ты вспомни, как мы намыкались до Москвы – хоть одна проблема от Бореньки была?

– Ну я ж и не говорю... Только знаешь, маленькие детки – маленькие бедки, а как подрастают...

– Я на него сегодня посмотрела и ахнула. Как он вырос! А я даже и не заметила... Через два года надо уже думать, в какой институт поступать...

– Какой ещё институт? Опять ты за своё. Он будет офицером, чтоб служить Родине, а не своему кошельку! И чтоб на дурь времени не было!

– Влад! Ну ведь не война же! Неужели наш сын не заслуживает чего-нибудь почеловечней, что ли...

– Ну ты, мать, не мытьем, так катаньем, честное слово! Ты посмотри, какие в этих институтах-университетах битлы-волосатики понаразводились! Хочешь, чтобы и наш Борька таким стал?.. Через мой труп! Пойдет в Серпухов, в ракетное! Я смотрю, он и техникой интересоваться стал – вон, транзистор собрал. Правда, я помог. А в Серпухов начальником мой бывший зам назначен.

– Это кто же? Серёжа, что ли?

– Да нет, Олег... Рагозин.

– А-а... И ты, значит, нашего мальчика ему отдать хочешь? Вспомни, сколько ты сам с ним намучился.

– Ну не блистал он инженерной мыслью... Но командир-то он как раз крепкий! И учебный процесс наладит, я уверен, как положено.

– Не знаю, Владушка... А ты уверен, что мальчик вообще хочет быть военным? Может, у него другое предназначение совсем?

– О как ты... Предназначение... Я так скажу: во-первых, мы уже который раз этот разговор затеваем, и всё равно ты – за своё. Во-вторых, насчёт предназначения... Ежели проявит какую-либо явную склонность, талант или, скажем, увлечённость какую-то особенную, то... Подумать можно. Но большинство, понимаешь, из школы выходят, а чего хотят, сами не знают. А училище – это всегда надёжно и... Мы с тобой уже не молоденькие. Не дай Бог... Я после той истории как-то по-другому на жизнь смотреть начал. Отвык с войны-то. А погоны, они всегда в люди выведут.

– Типун тебе на язык!

– Типун – не типун... Ладно, поживём – увидим.

Родители ещё долго разговаривали на кухне, но Боря незаметно для себя заснул, проснувшись лишь глубокой ночью. Его разбудило прикосновение руки отца: Владлен Владимирович присел на краешек кровати сына и тихонько гладил его по волосам.

– Ты чего, пап?

– Ничего. Спи, оболтус.

Оценки свои Борис исправил достаточно быстро, хотя круглым отличником так и не стал. Математика и физика по-прежнему казались ему не то чтобы не интересными, а какими-то «отвлечёнными» предметами. По всему выходило, что Боря скорее гуманитарий. Вот с историей или с английским языком проблем не возникало.

Мама устроила его в секцию борьбы самбо – к самому Штурмину, между прочим, и уже через полгода проблемы с физкультурой ушли в прошлое. Правда, большого спортсмена из Бори не получилось – не хватало амбиций, спортивного характера. Боря, вообще, не любил соревноваться. Но на тренировки ходил не без желания. Кстати, там он быстро подружился с другими мальчишками – постарше. С ними он ещё и светомузыку мастерил. Тем более что в восьмом классе у Бориса неожиданно прорезались вокально-музыкальные способности. Те же приятели по спортивной секции показали ему несколько аккордов на гитаре, и вскоре Борис уже ловко пел на английском под собственный аккомпанемент. Пел, кстати, всё тех же «Битлз», правда, втайне от отца. Волосы, правда, отрастить подлинней он даже не пытался...

Петь втайне от отца, кстати, было совсем не сложно: после гибели летом 1971 года трех космонавтов генерал Глинский практически поселился на «Байконуре», ему там даже квартиру служебную дали, заезжал в Москву лишь на короткие побывки. Та страшная катастрофа спускаемого аппарата корабля «Союз» поставила под вопрос создание первой орбитальной станции «Салют». А именно создание этой станции считалось главной задачей советской космонавтики. Генерал Глинский, всегда живший по принципу: «Раньше думай о Родине, а потом – о себе», считал это и своей личной задачей.

Но Надежда Михайловна всё же активно не желала сыну ракетно-космического будущего. А тут ещё она узнала побольше о некоем интересном учебном заведении – вроде бы и военном, но всё же институте, а не училище.

А дело было так: к ним на дачу пришли знакомиться новые соседи, тоже генеральская семья. Правда, генерал Левандовский, как он сам выразился, занимался больше «не техническими вопросами, как уважаемый Владлен Владимирович, а информационными». Такая фраза в устах советского генерала означала принадлежность к спецслужбам. Впрочем, генеральские жёны редко задавали дополнительные вопросы по «служебной части». Вот и Надежда Михайловна не стала любопытствовать на предмет точного места службы Петра Сергеевича, а радушно пригласила его с супругой к столу почаёвничать – по-простому, по-соседски.

Супруга Левандовского, Алевтина Ефимовна, сразу же стала с ревнивым прищуром оглядывать дачу Глинских, то и дело приговаривая:

– Петя, вот и нам так надо сделать... Смотри, какие антресольки удобные! Это же дополнительно доделывалось, правда? Ой, а какие светильники! Это где ж такие... У нас такие не продают. Откуда?

– Мой генерал – по технической части, – с лёгким оттенком самодовольства улыbnулась Глинская. – Там, куда он в командировки летает, такие умельцы есть... Европам и не снилось. Владик рассказывал, у них там один капитан даже посудомоечную машину для жены сконструировал.

Надежда Михайловна, конечно же, доверяла новым соседям, однако просто автоматически говорила «там» вместо «Байконур». Такого рода привычки у жён советских генералов становились частью натуры, характера.

– Как это – «посудомоечную»? – ахнула Алевтина Ефимовна.

– Так, – уверенно подтвердила кивком Глинская, знавшая о «кухонном чуде» только по рассказу мужа: загружаешь посуду в специальный короб под раковиной, включаешь тумблер, и она сама... Только тёрое мыло раз в три дня засыпай в неё, и всё.

– Видишь, Петя, как люди жён любят, – обернулась к мужу Левандовская, – чудо-мойку делают, чтобы руки мылом не портили!

Генерал в ответ добродушно ухмыльнулся:

– Жён, дорогая моя, балуют согласно профилю возможностей. Зато твои подружки завидуют твоим журналам с выкройками! Покажи, что принесла...

Теперь настала пора ахать Надежде Михайловне – в советское время французские журналы мод были не то чтоб «дефицитом», их, скорее, просто не было.

Вот за такой соседско-дружеской беседой начали пить чай на веранде.

Борис забежал ненадолго, быстро понравился гостям, быстро съел пару пирожков, заглотив чашку чая и умчался к друзьям на вечерний волейбол. Когда он выбежал за калитку, Алевтина Ефимовна подпёрла щеку пухлой ручкой и вздохнула:

– Парень-то у вас... жених совсем. На следующий год поступает? Надумали куда?

Глинская поморщилась, поскольку вопрос, считай, попал в болевую точку:

– Ой, и не знаю даже. Отец хочет, чтоб в ракетное, в Серпухов. Не знаю. А вы с дочкой-то... как определились? (Борис, кстати, уже видел дочку новых соседей – белобрысую, безгрудую и совершенно сублильную девицу, не вызвавшую у него никакого интереса. И это в его гормонально беспокойном возрасте, когда интересуется почти всё, что ходит в юбках, начиная с учениц седьмого класса и заканчивая безнадёжно тридцатилетними «старушками»!)

Левандовские переглянулись, и Алевтина Ефимовна после небольшой паузы неуверенно ответила:

– Ну нам ещё, слава богу, только через два года поступать. Петя говорит, к этому времени в ВИИЯ министр откроет отделение для девушек.

– Есть такая информация, – кивнул Петр Сергеевич.

– ВИИЯ? – удивилась незнакомой аббревиатуре Глинская.

– Ну да, – удивилась удивлению соседки Левандовская, – Военный институт иностранных языков. Там военных переводчиков готовят. Образование замечательное и перспективное... Вот только что из «лейтенантки-переводчицы» по жизни получится? Я-то со своим педагогическим ой как намучилась, пока Петеньку, слава богу, в Москву не перевели...

«Петенька», успевший к этому времени принять второй фужер смородиновой наливки, отёр с залысины испарину и крикнул:

– Будет тебе, мать. Что из них по жизни выйдет – это вопрос даже не завтрашний, а послезавтрашний. А пока надо Андрей Антоныча¹ сподвигнуть вопрос по существу решить. Чтобы у дочерей наших людей, – Пётр Сергеевич сделал нажим на «наших», а потом и расшифровал, кого он имеет в виду: —...Военачальников, руководителей оборонки, высших офицеров спецслужб, да тех же космонавтов, в конце концов, появилась альтернатива МГИМО².

– Да, МГИМО, – усмехнулась Глинская, – там честно выслуженные даже «лейтенантские» звёзды отца (в генеральском кругу слово «генерал» всуе не произносилось)... Так вот, и они ещё не аргумент.

– А я о чём, соседка? Вы и сами-то всё знаете! – с жаром подхватил Левандовский. – Это ж давно, считай, закрытый вуз. Открытый для своих. Для партаппаратчиков да дипломатов. А их всё больше и больше. Растём, так сказать, неуклонно от съезда к съезду.

– Петя... – укоризненно протянула Алевтина Ефимовна.

– А что – Петя?! – Левандовский выпил ещё один фужер и сердито зажевал его куском пирога с яйцом и мясом: – Что, Петя?.. Пятьдесят пятый год как Петя... Как будто бы я какие-

¹ Имеется в виду маршал Гречко – в то время министр обороны СССР.

² МГИМО – Московский государственный институт международных отношений.

то секреты выдаю. Все ж всё видят. Эти мидовцы зажавшиеся – из молодых, да ранних... Дипломатические династии – никто пороху-то не нюхал. На других, так сказать, фронтах воевали, на паркетных... А вот Леонид Ильич кого первым на политбюро заслушивает?

– Кого? – немного испуганно спросила Надежда Михайловна.

Генерал многозначительно усмехнулся и воздел вверх указательный палец. Глинская автоматически глянула туда, но увидела лишь потолок веранды со встроенными светильниками, так поразившими Алевтину Ефимовну.

– Может, партийных секретарей? Нет! Послов? Нет! Маршалов и генеральных конструкторов он первыми заслушивает! То-то же...

Долгий тогда получился у соседей разговор «за жизнь». И очень тогда запали в душу Надежде Михайловне слова генерала Левандовского о том, что этот институт – «самый серьёзный из гуманитарных и самый интеллигентный из военных», – сосед умел рассуждать доходчиво.

Потом ещё несколько дней мать усиленно «обрабатывала» Бориса, но, кстати сказать, его особо уговаривать и не пришлось, поскольку парень рос всё же гуманитарием, и языковой вуз, пусть и военный, явно был для него предпочтительнее ракетного училища.

Сложнее было с Владленом Владимировичем. Он поначалу про ВИИЯ и слышать не хотел. Но после нескольких посиделок с Левандовскими чуть-чуть смягчил свою позицию и однажды сдался, махнув рукой:

– Ну коли вы все так разом... Пусть идёт в этот ваш ВИИЯ. Только я туда помочь не смогу. Не моя сфера. А специально выходить на кого-то... Нет, не тот замес...

Генерал Левандовский кашлянул и незаметно подмигнул Надежде Михайловне, этак по-соседски, по-свойски: мол, не боись, хозяйка, подстрахуем парня. Глинский этого подмигивания не заметил, а жена ему ничего не сказала – Владлен Владимирович страсть как не любил одалживаться, а Левандовский хоть и был соседом, но близким другом, однако, не стал, да и не мог им стать...

В школе Борис не очень афишировал свое решение поступать в ВИИЯ. Его любовь, а точнее – склонность к одиночеству привела к тому, что совсем уж близких друзей у него среди одноклассников не было. Приятелей – да, их было много; Борю любили и даже выделяли одноклассники и одноклассницы. Но он всё же держал со всеми некую дистанцию. Это шло не от гонора «генеральского сыночка», просто как-то так получалось, что одноклассникам было с ним гораздо интереснее, чем ему с ними. Любимую девушку тоже ещё не встретил. То есть нравились-то многие девчонки, и сексуальные грёзы одолевали, но... (Кстати сказать, в те годы молодежь начинала сексуальную жизнь несколько позже, чем в последующие постсоветские времена.)

Школу Борис закончил хорошо – с двумя четвёрками, выпускной отгулял нормально – на Раушской набережной, но предстоящей разлукой со своим классом не очень тяготился. Его ждала новая, совсем другая жизнь.

2

...Вызов из военкомата на вступительные экзамены пришёл в июле. В ВИИЯ поступали на месяц раньше, чем в большинство вузов Советского Союза. Говорили, что так было сделано специально, чтобы многочисленные не поступившие могли ещё где-то попытать счастья.

Вступительные экзамены сдавали в Москве, на Волочаевской улице, дом четыре. Всех абитуриентов «посадили на казарму», то есть тех, кто поступал после школы, домой уже не отпускали – только в том случае, если завалил экзамен. Тогда уже отпускали насовсем. Абитуриентов разбили на взводы и отделения, которыми командовали те, кто поступал «из войск». Эти «деды» в форме самых разных родов войск смотрели на гражданских снисходительно и называли «школьниками». Да они, конечно, и были ещё гражданскими юношами, даже юридически, потому что до принятия военной присяги в Советском Союзе нельзя было считать человека полноценным военнослужащим. Во всяком случае, требования уставов на него распространялись не полностью – на гауптвахту, например, сажать было нельзя. Абитуриентам об этом, конечно, никто не говорил, и обращались с ними вполне по-армейски. Хотя муштры, конечно же, не было – разве что в столовую строем ходили.

Первый же экзамен – а им оказалось сочинение – существенно проредил ораву абитуриентов. За институтским КПП оказались чуть ли не три четверти из прибывших на экзамены.

Борис, кстати, чуть ли не единственный выбрал из трех предложенных тем самую хитроумную – «„Жертва – сапоги всмятку“». Россия второй половины XIX века в произведениях революционных демократов».

За своё сочинение абитуриент Глинский получил тройку – да ещё с выводом преподавателя, проверявшего работу: «Грамотный, но оригинальничает». Это было «фишкой» в тогдашнем ВИИЯ – кратко рецензировать все работы, кроме, конечно, двоечных. При этом краткая характеристика абитуриента (порой довольно точная) закреплялась за ним как минимум до конца экзаменов, а иногда и на весь период последующей учёбы.

Днём, после завтрака, абитура занималась в классах. Но поскольку июль в тот год был очень жарким, разрешалась и так называемая индивидуальная подготовка, то есть хождение с собственными конспектами и учебниками вокруг спортивной площадки, окаймлённой цветником из удивительно красивых роз. Дело в том, что тогдашний начальник института генерал-полковник Андрей Матвеевич Андреев (легендарный Дед) питал к розам слабость. «Если цветы засохнут – вы завянете», – напутствовал Дед своих тыловики. Впрочем, курсанты против роз тоже не возражали.

Кстати говоря, генерал Андреев, в отличие от своих преемников, вовсе не был недостижим. Он любил в одиночку пройтись по территории института, мог подойти и к курсанту, и к абитуриенту, если дело было летом, поздороваться запросто за руку, поинтересоваться, как зовут, откуда родом, как дела.

Именно так он тогда и вышел на Бориса. Парень, надо сказать, не растерялся, подтянулся и молодежато доложил, инстинктивно копируя отцову интонацию:

– Абитуриент Глинский. Из Москвы.

– Глинский... – прищурился генерал. – Глинский... Это хорошо, что абитуриент. А не Владлена ли Владимирыча сын?

– Так точно, – удивился Борис, помнивший, что отец говорил об отсутствии у него «выходов» на ВИИЯ. – Сын...

– Знаю я твоего батю, – с какой-то странной интонацией сказал начальник института, потом усмехнулся и добавил с неким даже вызовом в голосе: – А я вот не из генеральских

буду Я – из кочегарских. И сам до революции успел покочегарить. В Петрограде, на Семянниковском заводе. Слышал про такой?

– Н-нет, – стушевавшись, по-граждански мотнул головой Борис, и генерал немедленно среагировал:

– «Нет» дома вместе с мамой осталось. А в армии отвечают «никак нет» с обращением по званию.

– Виноват, товарищ генерал-полковник.

– Вижу, что виноват... А про Обуховскую оборону что-нибудь слышал?

– Никак нет...

– Ишь ты... Революционное, значит, прошлое наше... А в Питере-то хоть бывал? Крейсер «Аврору»-то видел?

– Никак нет, товарищ генерал-полковник.

– Да... А скажи-ка, милый мой, сдавал ли ты уже историю?

– Так точно, сдавал.

– И?..

– Оценка «отлично», товарищ генерал-полковник!

Андреев хмыкнул и пошёл дальше разглядывать свои розовые ряды. Борис, конечно, тогда не мог знать, что к «генеральским» начальник института относился очень избирательно, а порой даже и предвзято. Так что очень даже повезло Глинскому, что историю он уже сдал. Дорого могло обойтись ему незнание революционного прошлого Невской заставы...

Устную литературу Боря, кстати, тоже сдал на «отлично», но за этот экзамен он и не переживал: будучи книгочеем, он знал предмет намного шире рамок обычной школьной программы. И даже ввернул что-то фантазийное со ссылкой на Монтескье, назвав его «Монтескье». Это вызвало непроизвольную улыбку у гражданского экзаменатора, плавно прошагивавшегося вдоль стены с плакатами о XXIII съезде КПСС, после чего он и прервал «допрос»:

– Отлично, но думайте об окончаниях.

Оставался решающий экзамен – по английскому языку И его сдать нужно было только на пятёрку Вот Борис и повторял как раз английскую грамматику, когда попался на глаза генералу Андрееву А на спортплощадке беззаботно и азартно гоняли мяч старшекурсники. Борис вздохнул и посмотрел на них с завистью, подумав, что у них-то уже всё «на мази», уже не надо мучиться неопределённостью...

Неожиданно футбольный мяч перелетел через цветник, и за ним побежал высокий курсант, стоявший на воротах. Подобрал мяч, он на обратном пути вдруг неожиданно остановился перед Борисом и ткнул пальцем в одно из упражнений его учебника:

– Ну-ка, воспроизведи!

Глинский со старанием и рвением (чуть ли не с таким же, как в разговоре с генералом) воспроизвёл. Старшекурсник чуть сморщился, будто дегустировал какое-то экзотическое блюдо, покрутил головой, но всё же кивнул и ободряюще улыбнулся:

– Нормально. Сдашь. Это я тебе говорю. Луговой – моя фамилия.

Борис даже не понял, шутит этот широкоплечий чернявый курсант или говорит серьёзно. В ответ он забормотал что-то вовсе несурзное:

– А ты... а вы... вы что?..

Луговой тяжело вздохнул, потом усмехнулся и вдруг посмотрел в глаза Борису очень серьёзно и как-то очень по-взрослому спросил:

– Поступить-то ты поступишь. А знаешь, что потом тебя ждёт?

Глинский вздрогнул, почувствовав в вопросе нечто большее, чем просто курсантский стёб над абитурицией. Было что-то ещё, какое-то необъяснимое ощущение непонятного предчувствия, словно мягкое дуновение неизвестно откуда взявшейся тревоги. И вот эта взрослость во взгляде почти такого же мальчишки, как он сам (но всё же уже совсем другого),

отчётливо воспринималась Борисом как некий рубеж, за которым остались дом и дача с отцовским «жигулёнком» и школа со спортзалом и гитарными посиделками. Это всё было уже позади. А впереди? Впереди был, для начала, экзамен по английскому языку.

– Эй, Виктур! – закричали с поля. – Хорош абитуру лохматить. Кончай выпендрёж! Держи калитку!

Луговой совсем по-мальчишески подмигнул и побежал вставать в ворота...

На следующий день Глинский сдавал судьбоносный для него экзамен по английскому. Борис волновался так, что потом с трудом смог вспомнить, о чём спрашивал его уже немолодой, но атлетического телосложения экзаменатор-полковник и что он говорил в ответ. Но говорил всё же по делу – толково разобрался в разнице между двумя похожими на слух вопросами: «Can A be C?» и «Can a bee see?» То есть может ли А быть Цэ? И может ли пчела видеть? Получив в итоге «отлично», Глинский ошалело выскочил из аудитории и буквально наткнулся на непонятно откуда взявшегося курсанта Лугового с портфелем-дипломатом. Тот глянул в счастливое лицо абитуриента и удовлетворённо улыбнулся:

– Ну я же говорил! Файв?

Боря только кивнул, переводя дух.

– А кому сдавал? Капалкину? Ну полковник такой, он ещё ко всем обращается «друг мой»?

– Да. Вроде ему. А что?

Луговой пожал плечами:

– Ему сдать – «в уважуху». Он – великий Шаман. Знаешь, про него у нас байка тут ходит: говорят, курсов семь назад, или около того, он народ начал строить насчёт спортивной подготовки, дескать, занимайтесь, друзья мои, большим теннисом. Типа, это единственный вид спорта, который не выдает национальности игрока. Мол, поверьте мне, я сам был чемпионом сухопутных войск. В пятьдесят пятом году. Тут его кто-то и решил подколоть: «Товарищ полковник, а разве у нас тогда проводились такие чемпионаты?» А он: «Друг мой, я был чемпионом сухопутных войск США – The US Army... Take care, guy».

– Ни фиги себе! – не поверил было Глинский. Но Луговой абсолютно серьёзно кивнул в подтверждение своих слов:

– Точно тебе говорю. Можешь потом у преподав спросить. В Штаты, понятное дело, не съездишь, не проверишь. Но вообще, Капалкин – мужик серьёзный, «списает» как бог, с разными выговорами! Может как образованный американец, может – как докер-негритос. А как техасцев пародирует – уржёшься... «А-а-нчоус» – знаешь, что это? Orange juice – апельсиновый сок... Да у нас тут таких интересных людей много, скоро сам узнаешь.

– У меня ещё мандатная комиссия.

Луговой беспечно махнул рукой:

– Пройдешь... Это, считай, формальность. А с тебя – яйцо под майонезом в чипке³. За моё счастливое пророчество. Ты ж москвич? Ну вот. С первой родительской заначки. Меня Витей зовут. Я – «перс».

Неожиданная аналогия с персидским котом заставила Глинского широко улыбнуться.

– Борис. Ну Боря.

Ребята пожали друг другу руки. «Персами» в ВИНЯ называли курсантов, изучающих персидский язык. Уже ради дружбы с Луговым Борис тоже захотел изучать тот же язык, но наивно посчитал, что с его тройкой за сочинение это нереально... Хотя дело было не в тройке, а в «конкурсе родителей».

Через день мандатная комиссия официально назвала Бориса Глинского курсантом. Тогда же ему определили первый язык – арабский. Но какой язык лучше, какой – хуже, пона-

³ Популярное лакомство в буфете, по-вииняковски именуемое «чипком».

чалу мало кто задумывался. Борис был счастлив тем, что поступил. Он ощущал какую-то безграничную радость от этой, наверное, самой первой настоящей взрослой победы в жизни. Омрачить эту радость не могло даже перетаскивание на склад кроватей и матрасов, оставшихся от абитуриентов-неудачников.

Вечером обещали выдать полевую форму, а на утро был назначен отъезд в учебный лагерь на КМБ⁴ недалеко от Звёздного городка. Перед ужином бывшие абитуриенты, ещё даже толком не познакомившиеся друг с другом, пошли гонять мяч на спортивную площадку. Борис не особо увлекался футболом, но тут оказался нападающим. Переполнявшая его радостная энергия позволила забить красивый гол метров с пятнадцати. Наблюдавшая за игрой группа старшекурсников (готовившихся в зарубежную командировку и потому коротавших время в институте) заплотировала. На шум и крики к полю вышел помощник дежурного по институту – невысокий, сухопарый, опрятный капитан. Офицер снял фуражку, сунул её себе под мышку и с иронией, хоть и не без любопытства, стал наблюдать за мальчишеской вознёй. Через несколько минут капитан не выдержал и закричал азартно и неожиданно звонко:

– ...Ты, как тебя?.. Чего в углу жмешься? Откройся. Теперь назад давай!.. Ё-моё, в центр пасуй, в центр... Ай... Под удар... Мягко сбрось, мягко! Ну убил...

...Мяч от ноги Глинского вдруг покотился прямо к капитану, и тот небрежно, как-то очень щегольски вдруг «пожонглировал» им обеими ногами в хромовых сверкающих сапогах, а потом изящно, почти без замаха, отправил его в сторону ворот. Вратарь даже дёрнуться не успел. Старшекурсники снова загалдели и заплотировали.

– Кто это? – спросил, переводя дыхание, остановившийся рядом с ними Борис.

– Ещё узнаете, салаги, – с чувством превосходства ответил один, но другой добродушно пояснил:

– Это Пономарёв. Бывший капитан сборной Союза. Физо преподаёт.

Сказал и засмеялся, увидев округлившиеся глаза Глинского. В этих глазах легко читалась простая мысль: «Если даже физо здесь преподаёт недавний призёр чемпионата мира, то кто же тогда остальные преподаватели?»

Игра продолжалась, но прежнего куража у Бориса уже не осталось. Под наблюдением Пономарёва играть было как-то неловко. Ну всё равно что устраивать самодеятельные пляски перед Плисецкой.

А капитан всё не унимался, похоже, на его азарт уровень игры не очень влиял:

– Не обводи, не обводи! Длинный, длинный... ну ты, белобрысый... на ход дай, на ход! Пас! Клади в сачок... Йес!!!

Длинным и белобрысым он явно называл Глинского, и правда, природа и папа с мамой не обидели его ростом, а насчет «белобрысости»... В общем, не был он белобрысым, у него были густые темно-русые волосы, но слева от пробора, ближе к левому уху, выделялась большая очень светлая прядка. Она была у Бориса с рождения. Ну и, конечно же, эта прядка всю жизнь становилась поводом для подначиваний и подкалываний. Глинский давно к этому привык и не обижался.

Когда игра закончилась (Борина команда победила со счётом семь – два), Пономарёв неожиданно подошёл, посмотрел с прищуром и сказал добродушно:

– Ну, парень, ты ж не за зайцем гонишься. На настоящем поле у тебя бы давно дыхалка кончилась...

Борис ничего не ответил, просто шумно дышал, и капитан продолжил:

– Я, конечно, понимаю, ты сюда поступил не для того, чтобы в футбол играть. Но футбол... Футбол – это особая игра, это, если хочешь, квинтэссенция жизни, самая естественная

⁴ Курс молодого бойца.

форма состязания. А соревнуются все и всегда. Всю жизнь. Так вот, футбол – как танго, в котором всегда любовь и смерть. Футбол учит думать и бегать. А любой нормальный офицер обязан ясно думать и хорошо бегать. Эти умения, парень, могут спасти жизнь. Понял?

– Понял, товарищ капитан, – кивнул Глинский, дивясь тому, что знаменитый футболист выдал такую просто-таки поэтическую тираду. Хотя что он, собственно, тогда понял? Слова Пономарёва он вспомнит много лет спустя и в другой стране... Вот там он их настоящему поймет... И счёт этот, семь – два, в своем первом институтском матче Глинский тоже вспомнит, и жутко ему станет от мистического совпадения...

Но всё это будет потом. А тогда... Комсомольцы-первокурсники не очень верили в судьбу и предчувствия. В это начинали верить после спецкомандировок. Так что если и почудилось Борису что-то странное – про футбол, жизнь, смерть и любовь, – то он тогда, конечно же, мысленно от этого отмахнулся.

Этим июльским погожим вечером верить хотелось только в хорошее. В то, что жизнь будет такая же звонкая и азартная, как игра, в которой он забил свой первый в институте гол. И в то, что побед в жизни будет обязательно много. Больше, чем промахов.

И даже будни – и они обязательно будут с приключениями, интересными и светлыми... Семнадцать лет – это, как известно, возраст самых красивых мечтаний и самых чистых надежд.

...На ужине к Борису опять подошёл Луговой – уже как к «своему», почти равному. Оттянув Глинского чуть в сторону, Витя заговорщицки подмигнул и тихонько спросил:

– Наши ещё к вам с мультками не подходили?

– С какими мультками? – не понял Борис.

– Ну с разными финдиборциями и кандиснарциями?

Глинский рассмеялся над чудными словами, а Луговой совершенно серьёзно неожиданной скороговоркой произнёс:

– К финдиборциям и кандиснарциям надо быть готовым, чтобы избежать аннексий и контрибуций. А также репараций и реституций. Это у нас так «примочки» называются. Над абитурой же грех не поглумиться. Ты ухо-то держи востро. Если старшие подойдут и будут спрашивать, на какое ты отделение хочешь – на «разведчицкое» или дипломатическое, – ты не «покупайся». Отвечай: «Куда Родина прикажет». И всё. И на ускоренный курс гипнотизёров-диверсантов не записывайся. Не надо. И вообще, будь повнимательней. Всех «примочек» я тебе всё равно не расскажу, у нас затейников много, постоянно что-нибудь придумывают. А... Ещё одну вспомнил: если к тебе подбежит старшекурсник, протянет палец и попросит за него дёрнуть – не дёргай.

– Почему?

– Потому что он пёрнет.

– Не понял...

– Ну ясно же. Ты дёргаешь за палец, а он якобы именно от этого пердит. Все вокруг веселятся... Привыкай, брат. Такое у нас тут казарменное детство. А из игрушек только хрен да молоток...

После ужина всем поступившим выдали полевую форму – хэбэшные бриджи, гимнастерку и пилотку, кожаный ремень с солдатской молоткастой звездой и сапоги – яловые, прочной кожи. Именно эти сапоги (солдатам-то в войсках кирзу выдавали) обозначали курсантский статус. Ну и, конечно, погоны – красные, с жёлтыми продольными полосками.

Вчерашние школьники в большинстве своём искололи иголками в кровь все пальцы, пришивая к гимнастеркам погоны, петлицы и подворотнички. Подворотнички, правда, не пришивали, а подшивали, что сути дела, в общем, не меняло.

Глинский справился чуть ли не раньше всех – сказались тренировки, которые устраивал ему отец. И вот ведь как бывает: только вспомнил он про отца, как вбежал к ним посыльный дежурного по институту:

– Кто Глинский? Давай на КПП, там тебя какой-то генерал-лейтенант спрашивает.

Разумеется, это был отец. Оглядев сына, облаченного в новенькую курсантскую форму, Глинский-старший как-то смешно сощурился, будто ему в глаз что-то попало, а потом обнял Бориса и долго не отпускал:

– Молодец, сынок. Молодец!

На них всю главели какие-то курсанты и солдаты, и Борис застеснялся, поторопился высвободиться из отцовских объятий. Генерал, видимо, правильно понял причину – усмехнулся и предложил отойти в сторонку.

– Да я на минутку к тебе. По дороге на аэродром – сегодня опять в Семск⁵... Поздравить и всё такое... Мать очень просила. Она вся аж извелась за эти дни. Ладно. На КМБ завтра?

– С утра, – кивнул Борис.

– Ты, сынок, имей в виду: некоторые на КМБ расслабляются, думают, что уже всё позади, а это, считай, ещё один экзамен. И бывает, что прямо с КМБ – обратно на гражданку. Или в войска – для старослужащих. Так что...

– Я знаю, пап, я постараюсь.

– «Папа»... – улыбнулся Владлен Владимирович. – Ты теперь меня имеешь полное право не только папой называть, но и «товарищем генерал-лейтенантом». Погоны позволяют. Я ведь тоже когда-то курсантом был...

– Так точно, товарищ генерал-лейтенант, – лихо бросил ладонь к пилотке Борис. Отец удовлетворённо улыбнулся:

– Ну честь отдавать – ещё, конечно, потренироваться надо. Пальцы чётче ставить. Но в целом...

И он снова обнял сына, предварительно «официально» козырнув ему. Вот так и вышло, что первое в своей жизни воинское приветствие отдал Борис генералу, да еще и родному отцу. А это запоминается на всю жизнь! Глинские не отличались особой сентиментальностью, но в этой сцене было что-то очень искреннее, растрогавшее обоих...

– Так, Боря, я тебе тут привёз кое-что, – спохватился генерал, расстёгивая принесённый с собой портфель. Новоиспеченный курсант подумал было с тайной надеждой, что мама послала домашние пирожки. Но Глинский-старший вытащил из большого портфеля сапоги – точно такие же, яловые, как на Борисе, только помягче. Это были генеральские сапоги, и Глинский-младший много раз надевал их, когда ходил в лес за грибами или ягодами. Размер ноги у него уже с девятого класса был такой же, как у отца.

– Меняй, – сказал отец. – В новых-то на КМБ вмиг ноги сотрёшь. А эти разношенные.

– Спасибо, папа, – даже как-то растерялся от такого необычного выражения родительской заботы Борис.

– Пожалуйста. Оценишь через пару дней. У этих-то, видишь, подошва потоньше, да и не такие тяжёлые. Да, вот я ещё портянки фланелевые захватил, вам-то небось одни обрывки выдали?

– Ну да... Портянки могли быть и побольше.

– Могли бы и побольше, если б прапорюги воровали поменьше... Ладно, сынок. Давай. На присягу к тебе мы вместе с мамой придём. Я уже и в график свой Москву поставил. Там, позвонишь, скажешь, когда...

Генерал уже повернулся, чтобы уходить, и вдруг как-то не по-генеральски хлопнул себя по козырьку фуражки, что-то вспомнив:

⁵ Семипалатинск.

– Отставить, чуть не забыл. Курсант Глинский!

– Я!

– За успешное поступление!.. – Владлен Владимирович рассмеялся, не выдержав торжественного тона, и продолжил уже обычным голосом: – В общем, так, мы с мамой посоветовались. В сентябре, как восемнадцать исполнится, по-быстрому сдашь на права. Я уже договорился, один полковник из гаража Минобороны поможет. Ну и... Можешь считать «жигулёнок» своим.

– Па-апа!!!

Вот тут уж Борис начал обнимать отца. Ну да, «жигуль» ведь – это не сапоги, пусть даже хорошо разношенные и «севшие» на ногу В Советском Союзе личный автомобиль существенно расширял границы персональной свободы. А уж Борис-то, он просто влюблён был в машину. Отец его впервые посадил за руль в 14 лет, и уже тогда Глинский-младший усвоил матчасть так, что на спор по звуку двигателя определял характерные неполадки. Конечно, в городе он ездить без водительских прав не мог, но с дачи до ближайшего сельмага выруливал просто, как профессиональный гонщик...

...Но на КМБ курсант Глинский поехал не на своём авто, а вместе со всеми – в автобусе-«пазике». Поехал, впрочем, в самом радужном настроении, которое не испортило даже первое взыскание, полученное почти сразу же по прибытии в учебный лагерь.

Дело в том, что многие поступившие после школы понятия не имели о том, как наматывать портянки, чтобы они не тёрли ногу. Многие с откровенной брезгливостью разглядывали выданные им тряпки и даже высказывали крамольные мысли, что портянки, мол, – это атавизм, анахронизм и вообще мудизм. Пережиток дореволюционного прошлого. И что уж в крайнем случае – пусть эти тряпки солдаты носят, а «благородные» курсанты – будущие офицеры вполне могут и в носках пощеголять.

Борис, кстати, даже пытался переубедить некоторых своих однокурсников. Он искренне повторял услышанные ещё в детстве от отца самые теплые и добрые слова о портянке. О том, что носки при долгой ходьбе в сапогах всё же сбиваются во влажные складки и поэтому натирают ногу, а портянку – её только встряхнул, перемотал другим концом – и будто свежую надел. О том, что бегать и ходить в них удобнее. О том, что они так не рвутся и не протираются, как носки.

В общем – старался, как мог. И даже попытался некоторым помочь «замотать ногу в куколку», как любил приговаривать Глинский-старший. Но без сноровки у многих городских юношей всё равно не получалось. И вот эти «портяночные антагонисты», несмотря на приказ упаковывать носки вместе с остальной гражданской одеждой для последующей отправки домой, всё же их припрятали. И прибыли в них на лагерный сбор. Там-то их всех сразу же и «взяли с поличным», потому что эта история повторялась из года в год.

Всех новобранцев попросту построили и приказали снять сапоги. М-да. Как писал один не очень известный критик в середине XIX века: «Правда явилась во всём своём ужасном великолепии». И Борис тоже попал «под раздачу». Он хоть и был в портянках, но не в «уставных», а в тех, что отец привёз, во фланелевых. Эти фланелевые портянки разозлили начальника курса, майора Шубенка, ещё больше, чем носки. Он долго пристально разглядывал Глинского и наконец процедил:

– Любите себя, товарищ курсант? Жалеете?

Борис вспыхнул, но ответил неожиданно для себя спокойно и без вызова:

– Не думал об этом, товарищ майор.

Шубенок нахмурился, пытаясь понять, есть ли в словах курсанта дерзость, к окончательному выводу не пришёл, но решение принял командирское:

– А вы подумайте. И чтоб крепче думалось – вам я также объявляю взыскание. Для начала – замечаньице.

– Есть замечание, товарищ майор, – бодро откликнулся Глинский, радуясь, что Шубенок не обратил внимания на его разношенные сапоги. Все дело в том, что просто Борис их умел чистить лучше многих своих однокурсников, потому-то его обувь – без пристального разглядывания – казалась даже более новой, чем у других...

На том же самом построении начальник лагерного сбора полковник Яремко обратился к курсантам с короткой, но смачной речью, в ходе которой произнёс сакраментальную фразу:

– Видите забор? Кто не видит забор – выйти из строя! Так... Стало быть, все видят. Кого увижу за забором, тот увидит меня в последний раз!

А забор-то и впрямь был очень плохо виден из-за закрывавшей его густой растительности...

Впрочем, по «закону парности» уже через пару дней Боря получил уже и выговор – за то, что в вечернее время справил в кустах малую нужду, не доходя до туалета, а дежурный по лагерному сбору засёк. «Ну ты поссал!» – ухмылялись одноклассники.

Но в целом Глинский прошёл КМБ достаточно легко – сказались и спортивная подготовка, и отцовское воспитание. Для Бори многое было если не в новинку, то уж точно не в диковинку. Он легко бегал кроссы, нормально отстрелялся на стрельбище, умело окапывался и вообще достаточно легко переносил «тяготы и лишения воинской службы». Многие их переносили гораздо труднее. Командиром их языковой группы (по-военному – командиром отделения из 10 человек) был назначен поступивший «из войск» младший сержант Новосёлов. Бориса он почти не трогал, но остальных «плющил» и воспитывал так, что казался им просто зверем и сволочью. Особенно часто он «дрючил» Виталия Соболенко, физически плохо развитого паренька из Киева, сына какого-то республиканского министра... Чуть ли не до слёз Виталика доводил. И как-то так само собой получилось, что Борис начал Соболенко опекать – помогал, подсказывал, короче говоря «нянчился», по выражению младшего сержанта. К концу КМБ Соболенко «прилепился» к Борису просто как мишка-коала к дереву, – ходил за ним хвостиком, как верный паж. Однажды Новосёлов не выдержал и, оттащив Глинского в сторону, тихо сказал:

– Зря ты с этим хлюпиком возишься. Гниловатый он.

А Борису не то чтобы уж так нравился Соболенко, просто папа и мама с детства учили его защищать слабых. Да и книги, которые он читал, учили тому же. А ещё Глинскому не нравилось, когда кто-то ему что-то навязывал. Поэтому он отреагировал достаточно твёрдо:

– А что, есть факты, товарищ младший сержант?

Новосёлов покачал головой:

– Пока нет, но будут. Поверьте, товарищ курсант. Мы таких сладеньких в армии сразу срисовывали. По глазам.

– Приму к сведению, – не стал спорить Глинский, но поведения своего по отношению к Соболенко не изменил.

Да, именно на КМБ курсанты стали задумываться о полученном для изучения языке, а заодно об их ранжировании с учётом перспективы. К этому сокурсников приобщили те, кто поступил в институт со второго, а то и с третьего захода. Самым блатным в ВИИЯ считался, конечно, факультет западных языков. Именно туда стройными рядами зачислялись внуки и сыновья совсем ядрёных «шишек». Отпрысков таких «шишек» в ВИИЯ называли «мазниками» или «мазистами». Те же, у кого блат был пожиже («полумазники-полумазисты») или не было его вообще, шли на восточный. Разумеется, всегда встречались исключения. Более того, большинство сдавших сочинение на «отлично» (это, правда, удавалось единицам) и в дальнейшем учившихся только на пятерки имели как раз «рабоче-крестьянское» происхождение. Безотносительно факультета.

Но этот парадокс на самом деле лишь подкреплял общий, как стали говорить позже, тренд: в ВИИЯ, мягко говоря, предпочитали детей из «непростых» семей. Так что институт

вполне заслуживал короткую, но едкую характеристику, придуманную кем-то из прежних острословов: «институт блата и связи имени Биязи»⁶. И что тут сказать? Во многом это было именно так, но... Но и тут всё было не так уж примитивно просто. Поступающий должен был не просто пройти конкурс в 25 человек на место, но и иметь незапятнанную репутацию, ибо ему предстояло стать «выездным» в «невыездной» стране. За границу ведь направляли самых надёжных, а они происходили из «заслуженных», а стало быть, многократно и тщательно проверенных семей. Да и, честно говоря, в «статусных» семьях всё же больше выросло толковых ребят. В одном историческом анекдоте на эту тему сказано примерно так: «Войну и мир» мог написать только граф Толстой, а никак не его конюх Ванька. И не потому, что Ванька – дурак, а потому, что граф за лошадьми не ходил, следовательно, располагал большим временем на сочинительство.

Толковые блатники редко становились круглыми отличниками по простой причине – из-за недостатка внятного стимулирования. Им не надо было «жопу рвать», как «рабоче-крестьянским» детям, пробиваясь к социальным лифтам. Им вполне достаточно было учиться просто хорошо.

А если в институт поступал хоть и блатной, но откровенно бестолковый, то дальше второго курса он редко доучивался. Как-то испарялся сам собой.

На восточном факультете выше всех котировался персидский язык – прежде всего из-за щедрости иранского шаха. Да и за афганского короля Москва платила совсем неплохо – за годичную командировку можно было и приодеться, а порой и купить автомобиль. Глинский ведь поступал ещё до того, как шаха и короля свергли. Это потом уже персидский станет самым «боевым» языком, но при этом «экономически не интересным». Но тогда Глинский для персидской группы «не вышел папой». Арабский же в те времена считался в меру «демократичным» и «хлебным», в отличие от «беспросветного» китайского. А его, кстати, часто давали неблатным отличникам. Такое вот «лингвострановедение», трудно постижимое новичками.

Впрочем, в ВИНЯ не только учебный процесс, но и сама обстановка, внутренняя атмосфера как-то незаметно нивелировала «мазников» и «немазников». Всё-таки, при всех «выездных» перспективах, в ВИНЯ в основном стремились за образованием. А знания, полученные в неказистых красных казармах и задвинутом вглубь квартала восьмизэтажном корпусе, ставили институт в один ряд с самыми престижными вузами страны. При этом в ВИИЯ получали не только знания, но и планку жизненных устремлений, причём не только в профессиональной сфере...

⁶ Генерал Николай Биязи – один из отцов-основателей ВИИЯ. – Прим. авт.

3

...О переводчиках, тем более военных, широкой публике известно не так много. Причин этому достаточно – и закрытость контор, куда они попадали по распределению, и скромные звездочки на погонах – чаще всего как у незаметных ротных.

Хотя некоторые из этих «ротных» засветились в таких событиях мирового значения, как Тегеранская, Ялтинская или Потсдамская конференции. Прежде чем подняться до самых высоких штабов, большинство этих капитанов проходили через рейды по тылам противника и парламентёрство под белым флагом. Выживали, мягко говоря, не все. Мало кто знает, что военные переводчики в процентном отношении среди всех армейских профессий получали боевые награды так же часто, как лётчики. И так же часто погибали, причём совсем не только во времена Великой Отечественной. Очень непросто складывались судьбы этих людей, зачастую знавших больше, чем их начальники. В том числе знавших много и о самих начальниках. А во многих знаниях, как известно, «многая печали»... Да и те, «кому положено», всегда относились к переводчикам с трудно скрываемым подозрением. Особенно в сталинские времена. Да и потом тоже бывало. Но на место выбывших всегда приходили новые...

У истоков ВИИЯ стояли уцелевшие после Гражданской войны и чудом пережившие лютость тридцать седьмого года наследники «золотопогонного» прошлого русской армии – генералы Алексей Игнатъев (автор знаменитейших мемуаров «50 лет в строю») и Николай Биязи. Оба они были дипломатами и учёными, что называется, милостью Божьей. Первый считался одним из основоположников современной военной дипломатии. При его непосредственном участии были определены права и обязанности военных атташе, которых до того называли «военными агентами». Так что слово «агент» изменило свой первоначальный смысл не без подачи Игнатъева. Что же касается Николая Николаевича Биязи, то он, итальянец по корням, был известен прежде всего как непревзойденный полиглот. Четырнадцать (!!!) языков – «это вам не кот чихнул», как любил приговаривать майор Шубенок. Сами же отцы-основатели в годы своего профессионального становления опирались на целую плеяду замечательных русских военных интеллектуалов, ныне почти забытых, – таких как Николай Михайлович Пржевальский (кто о нём знает больше, чем про «его» лошадь?), Андрей Евгеньевич Снесарев (один из родоначальников современной афганистики), Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (брат будущего секретаря Совнаркома курировал «в пользу России» мировое масонство), – все они были первыми генералами русской военной разведки. Понятное дело, курсанты ВИИЯ во время учёбы редко вспоминали основоположников и классиков. Но, как написал по схожему поводу ещё старик Вергилий, «выбирая богов – выбираешь судьбу».

Многих манило в ВИИЯ это странное ощущение элитарности, избранности, витавшее в его стенах. И совсем не случайно так вышло, что учились в институте очень известные в будущем люди, можно сказать культовые персонажи, такие как писатель Аркадий Стругацкий, композитор и сценарист Андрей Эшпай, артист Владимир Этуш. О таких, как журналист Всеволод Овчинников и ещё с десятков не менее известных академиков и политиков, правда, не всегда подчёркивающих своё военно-переводческое «первородство», и говорить не приходится.

В ВИИЯ в лучшие его времена изучалось до 40 иностранных языков – больше, чем в любом вузе страны, а может быть, и мира. Знание этих языков находило самое что ни на есть прикладное и весьма оперативное применение в локальных войнах, о которых соотечественники лишь догадывались по очень скупым и не очень правдивым сообщениям в советских газетах. По двум языкам (с учётом географии тогдашних горячих точек) – арабскому и португальскому (потом добавился и персидский) – равных выпускникам ВИИЯ не было,

да и быть не могло. По крайней мере в прикладном смысле – ведь после третьего, а порой и второго курса чуть ли не строем курсантов отправляли на боевые стажировки к нашим советникам в воюющих армиях – подчас весьма экзотических.

В тот год, когда Глинский поступил в ВИИЯ, произошел трагикомический случай. Курсанта-старшекурсника в центре Москвы задержал комендантский патруль. Начальник патруля узрел на курсантском кителе орденские планки с Красной Звездой, медалью «За боевые заслуги» и ещё двумя-тремя какими-то совсем непонятными – с саблями и полумесяцами. Бдительный офицер усомнился, так сказать, в легальности всей этой красоты. Ведь у абсолютного большинства обычных офицеров боевых наград не было вообще. А тут столько всего, да ещё у какого-то курсанта. Недоразумение, конечно, быстро разрулилось, причём мирно для обеих сторон. Офицер московской комендатуры, может быть, и не понял, как быстро его могли выслать из Москвы, окажись задержанный курсант внуком маршала или сыном члена ЦК. А ведь таких «детей» в первую очередь направляли на «боевые стажировки», и они привозили оттуда награды. Этим боевым «флёром», надо сказать, пользовались и другие виияковцы. Борис запомнил оправдания билетёра перед администратором «дефицитной» тогда «Таганки»: «Да я только двоих пустила – Булата Шалвовича (Окуджаву) – Любимов разрешил... И вот этого – курсантика из ВИИЯ...»

Хотя, надо признать, далеко не все виияковцы унаследовали у своих знаменитых родственников только лучшие качества. Например, учился в институте сын известного из истории Великой Отечественной войны лётчика-инвалида. И был этот курсант горьким-горьким пьяницей. Настолько горьким, что адъютанты папы иногда просто выносили его к институту на руках, аккуратно переваливали через забор, и далее до родной казармы тот добирался уже ползком. Бывало, что за этим «героическим» перемещением наблюдал экстренно вызванный помощник дежурного по институту.

Но таких «кадров» было всё-таки немного. Сознание будущих военных переводчиков формировалось в первую очередь не уставами и шагистикой, а учебным процессом. И учиться было у кого. Многие преподаватели прививали курсантам интерес к профессии не только глубиной и широтой своих познаний, но и примером собственной судьбы. Чего стоил один только главный военный «франкофон» страны – профессор Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев, кстати, лётчик-фронтовик, к тому же сын основоположника отечественной виолончельной школы. Он был непревзойденным методистом работы в ЛУРе – лаборатории устной речи, в то время лучшей в стране. В этой лаборатории курсанты получали навыки синхронного перевода на примере типичных для будущей работы жанровых сцен. Происходило это так: из наушников лилась живая речь носителей языка, но не в «дистиллированном» дикторском варианте, а с характерными помехами – от гула самолета и треска полевых телефонов сквозь выстрелы до плача детей, шума ссоры или перезвона бокалов с тостами.

(Кстати говоря, однажды и самому профессору выпал случай убедиться в качестве налаженной им подготовки. А дело было так: выехал он однажды во Францию переводчиком самого Хрущёва. Де Голль, кстати, ценил «доктора Рюрика» как синхрониста даже больше, чем своего друга и начальника разведки Франции Константина Мельника (внука доктора Боткина, расстрелянного вместе с царской семьёй). И вот тогда-то без задней мысли и уж точно без какого-то задания (ну так, по крайней мере, запомнилось!) зашёл Рюрик Константинович в магазин сувениров, располагавшийся впритык к президентскому центру связи, то есть стратегическому объекту К нему тут же выпорхнул хозяин магазина – классический угодливый французик с непривычным тогда для советских людей именованным беджиком: Жан-Клод какой-то там: «*Qu'est-que se vous voulez, monsieur?*» («Что мсье угодно?») Взглянул этот «Жан-Клод» в лицо профессора и как-то слегка побледнел – тут же в подсобку заторопился. Мол, очень важный телефонный звонок, вы только не уходите, к вам сейчас подой-

дут, то да сё. И вся эта трескотня с характерным парижским выговором – просто идеальным. Просто как у потомственных парижан. «Как», потому что в этом «Жан-Клоде» узнал Миньяр одного своего курсанта, выпустившегося лет восемь назад, страшного раздолбая, кстати...)

И таких, как Миньяр, было немало. В институте преподавали настоящие энциклопедисты и практики в одном лице: Владимир Иванович Шванёв, «отметившийся» во всех арабских странах и свободно цитировавший Коран с любого места; Лев Сергеевич Поваренных, не только по знанию языка, но и манерам похожий на английского лорда; пуштунолог с мировым именем Георгий Фёдорович Гире – кстати, внук министра иностранных дел Российской империи, давшего имя пограничному размежеванию на Памире, той самой знаменитой «линии Гирса»...

Поэтому важной особенностью виияковского образования являлась широкая междисциплинарная, страноведческая и особенно филологическая эрудиция выпускников, прежде всего литературный русский язык. Такой, как у ведущего англоязычного переводчика генеральных секретарей ЦК КПСС 60–80-х годов Виктора Михайловича Суходрева, выпускника ВИИЯ 1956 года, иногда выступавшего перед своими молодыми коллегами – благо его сын тогда в этих же стенах учился.

Отношение же курсантов к неязыковым дисциплинам зависело прежде всего от личности преподавателя. С «общественниками» не спорили, но и особо не увлекались ни диаматом, ни истматом. Забавно, но в военном институте наименьшей симпатией пользовалась кафедра оперативно-тактической, или позднее – военной, подготовки, как будто на остальных учили не военному делу! Эту кафедру курсанты из поколения в поколение называли «дубовой рощей», а особо рьяным её преподавателям регулярно приходили характерные конверты без обратного адреса и имени отправителя, но с лаконичным дубовым листком внутри. Впрочем, и там личности встречались интересные – хотя бы тот же полковник Жаров, брат знаменитого артиста. Его любили, причём вовсе не из-за брата, а за гусарский лоск, фронтную умудренность и непередаваемое чувство юмора: «„Англичане“, – спрашивал, бывало, полковник, будучи дежурным по институту, когда он провожал в увольнение курсантов, ставших папами (их кое-когда в будни отпускали), – как по-английски будет „тёща на воскресенья заберёт ребятёнка“?» – «Й-й-й-е-с-с!»

Вот в такой вот не самой обычной для военного заведения атмосфере и началась учёба курсанта Глинского. К языковым занятиям приступили сразу после возвращения с КМБ. Вскоре состоялось торжественное принятие военной присяги – тогда Борю отпустили в его первое увольнение. До полуночи отпускали, кстати, только москвичей, но Борис уговорил начальника курса отпустить с ним «до нулей» и курсанта Соболенко, своего верного «оруженосца». Собственно говоря, последним аргументом стала просьба отца, пришедшего вместе с мамой на присягу в парадной форме. Майор не мог отказать генералу, хотя было видно, что начальник курса переступил, как говорится, через себя. А вот младший сержант Новосёлов, командир их отделения, остался «при казарме» – ему, свердловчанину, в Москве идти было особенно некуда. Правда, он и присягу вместе с ребятами не принимал, поскольку принял её ещё солдатом, «в войсках»...

После праздничного ужина (лишь с капелькой шампанского для первокурсников) отец лично отвёз их с Соболенко к институту. Следующего «увала»⁷ Борису пришлось ждать долго.

И потянулись учебные будни. Надо сказать, они не были окрашены чем-то романтическим. Поначалу шла простая сермяжная зубрёжка, доходившая до так называемого «жопничества» – от словосочетания «братъ жопой», то есть – свержусидчивостью. «Жопничество» переходило иногда почти в маразм, когда после отбоя и выключения света в казарме

⁷ «Увал» – то есть увольнение. – Прим. авт.

и ленкомнате⁸ многие курсанты плавно перемещались зубрить в круглосуточно освещённый туалет. Ходили туда и Борис, и младший сержант Новосёлов, становившийся в ночное время совсем «ручным», и даже старшина курса. А что было делать: не выучишь «дозу» на завтра – пойдет цепная реакция неуспеваемости, а там недалеко и до отчисления. «Жопничали» в основном восточники. Западные языки считались лёгкими, недоступными лишь дебилам. Поэтому западники, особенно выпускники языковых школ, в отличие от восточников, могли беззаботно «давить на массу» от отбоя до подъема. Но как бы ни тяжелы были первые месяцы учебы, без специфического юмора, конечно же, не обходилось.

Любой арабист прошёл через лёгкий шок от обилия в языке слов, звучащих для русского уха не совсем, скажем так, прилично. Например: «Я биляди...» – чёрт-те что подумать можно, а это всего лишь патетическое обращение к родине: «О, страна моя». А если сказать по-арабски: «О, страна наша Япония!» – получится ещё задорнее: «Я билядуна Ябанийя» – и молодые раздолбай особенно нажимали на «...нийя», чтоб уж совсем ядрёно звучало. Ну а китайскую фразу: «Лиса тоже не может ответить воробью» – «Хули ебу хуй хуйда хуйня», – весь курс выучил одновременно с самими китаистами.

А на следующий год «порадовал» и английский, в котором Боря мгновенно почерпнул много нового. Попробуйте-ка быстро и с не очень английским, а скорее, с русским выговором произнести «*chor is dish!*» – безобидную, в общем-то, реплику о шницеле. Получится нечто, напоминающее невежливый вариант вопроса «зачем врешь?». Или скажите по-английски «возле какой-то птицы». Получится примерно так: «ниээбёт». Ничего не напоминает? А вот младшекурсников это очень развлекало. Настолько, что такого рода хохмочки входили органично в курсовой сленг. Если хотел, скажем, кто-то чётко выразить свою позицию относительно «докапываний» младшего сержанта Новосёлова, то так сразу и говорил: «Возле птицы». И все сразу всё понимали – возле какой именно птицы и куда она полетит.

Впрочем, такого рода хохмочками «наедались» довольно быстро. А часто на них уже просто сил не оставалось. Правда, Борису, в отличие от доброй половины однокурсников, почти не приходилось встречать «забрезживший рассвет» в сортире, но он всё равно поначалу безумно уставал и совершенно не высыпался. А потом вдруг организм словно переключился, перенастроился, причем это случилось как-то резко, за неделю. И кстати, не у одного Глинского. Курсанты втягивались, кто раньше, кто позже. Борис втянулся практически раньше всех. По арабскому языку он быстро вышел на твёрдую «четвёрку», а к «пятерке», честно говоря, не очень и стремился. Преподаватели качали головами и вспоминали резюме на его сочинение: «Грамотный, но оригинальничает». Но Борис в данном случае совсем даже не оригинальничал. Всё было банально: за пятерку надо было очень попотеть, а тогда бы не осталось у него времени на периодические сбегания в самоволки.

Сбежать-то было не очень сложно, не с зоны же, а вот чтоб тебя не «зажопили», то есть не взяли за задницу, – тут много хитростей было придумано. Дело в том, что успех «самохода» обеспечивался, во-первых, тем, чтобы «беглеца» не искало начальство, во-вторых, надёжностью увольнительной записки – на случай встречи с патрулём, гражданскую-то одежду носить запрещали! С увольнительными разобрались быстро: мыли под краном уже использованную записку, предусмотрительно заполненную чуть разбавленными чёрными чернилами – они, в отличие от лиловой печати, хорошо смываются. Ну а потом вписывали нужное... Сложнее было «отмазаться» от начальника курса. Самая распространенная «отмазка» состояла в том, чтобы «товарищи по оружию» сказали, например, что курсант такой-то находится в лаборатории устной речи. А там-то особо никого никогда не искали. Так что в аудиториях самоподготовки надписи мелом на досках про якобы занимающихся в ЛУРе практически не стирались. И фамилия «Глинский» мелькала там чаще других. Надпись эта

⁸ Ленинская комната – место для самоподготовки перед отбоем. – Прим. авт.

накладывала на оставшихся в аудитории особые обязательства, ибо означала: «такого-то не искать и в случае чего прикрыть любой ценой». Но и тот, кого «не искать», не имел права подвести прикрывавших его. Такая вот своеобразная «школа верности».

И кстати, с самоволками и самовольщиками, несмотря на то, что институтское начальство официально жёстко преследовало за эти «вопиющие нарушения воинской дисциплины», как-то так образовывалась любопытная тенденция: тех курсантов, кто никуда не сбегал и послушно занимался в аудитории, частенько отправляли на разные не очень приятные работы, типа уборки снега зимой на закрепленной за курсом территории. Не очень любили виияковские начальники слишком смиренных, хотя официально, разумеется, это никак не декларировалось. А Глинский уже через год учебы освоился и оборзел настолько, что стал просто «асом самохода». У него явно прорезался настоящий талант – сбегать и не попадаться. Одногоруппники считали, что Борис сбегает на полуофициальные выступления только-только начавших расцветать ВИА (вокально-инструментальные ансамбли – для тех, кто забыл) или на концерты потихоньку потянувшихся в СССР иностранных звезд. Или что Глинский сам на гитаре лабаёт в какой-то чуть ли не ресторанной группе. И это всё было, конечно, хотя и без ресторана. Но гораздо реже, чем казалось сокурсникам. Чаще всего Боря сбегал просто домой. И совсем не только из-за маминых рукотворных пельменей и пирожков (хотя и из-за них, конечно, тоже). Глинскому просто очень нравилось заниматься учёбой дома, отдельно, не вместе со всеми в аудитории самоподготовки. Это ж такой кайф: зубришь породы⁹ глаголов, а заодно чаёк прихлебываешь и маминой ватрушкой заедаешь. Глинский-старший об этих «самоходах», конечно же, не знал. А Надежда Михайловна делала вид, что верит сказкам сына про «сегодня опять отпустили». К тому же Глинские жили не очень далеко от института – на «Парке культуры». После «тревожного» звонка от сокурсников можно было уже минут через сорок – сорок пять спокойно оказаться на территории института и в ответ на строгий вопрос: «Где вы шляетесь, товарищ курсант?» – невинно хлопать глазами: «Как где? В ЛУРе... а потом я ещё в столовую забежал, я там конспект на обеде забыл... еле нашёл, товарищ майор...»

Этот «индивидуализм» Глинского, дистанция, которую он держал почти со всеми однокурсниками, воспринимались ими нормально. Не как снобизм, а как особенность характера. А Борису эта дистанция обеспечивала дополнительную степень личной свободы, в том числе и в моральных предпочтениях. Кроме того, Глинский, наверное, быстрее других осознал, что переводчик – это «штучный товар», а не продукт коллективного обезличенного радения, как уборка снега.

Кроме того, Глинский старался приходить из «самоходов» не с пустыми руками – мать всегда давала ему с собой что-нибудь вкусненькое, и этими харчами он всегда подкармливал однокурсников. Ох, как много домашние харчи значат для укрепления внутриказарменного реноме на младших курсах! Знающие люди подтвердят. Нормальный курсант – особенно до третьего курса – всегда хочет есть, спать и вот ещё «ба-бу-бы»... Непроизвольная поллюция «выстреливала» порой на полметра. Хотя в ту пору большинство первокурсников были вполне невинными мальчиками, говорившими гораздо больше «о» женщинах, чем «с» ними, родимыми.

И ещё пара слов о «самоходном таланте» Глинского – это именно он придумал «отпугивать» патруль ношением объёмного бандажа-воротника. Начальник патруля, завидев курсанта в таком инвалидном ошейнике, уже как-то стеснялся, что ли, потребовать увольнительную записку – парню и так-то не повезло, шею сломал, теперь, наверное, комиссуют. Этот бандаж-воротник Боря, естественно, «экспроприировал» у матери, он был фээргэшного

⁹ Характерные для арабского языка словообразования от общего корня. – *Прим. авт.*

производства и внушал глубокое почтение. Естественно, ошейник пошёл на курсе по рукам, без «дела» не пролёживал и вскоре неформально был признан общевиивковским «ноу-хау».

А в нечастые легальные увольнения Глинский иногда брал с собой домой Виталика Соболенко. Он всё так же бегал за Борисом хвостиком. Глинский не сумел с ним по-настоящему сдружиться, просто жалел и, что называется, подкармливал. Зато Виталика очень полюбила Надежда Михайловна: ей очень нравились его услужливость и предупредительность – и картошку-то он почистит, и посуду-то помоеет, и сто раз спасибо скажет, и чего в тарелку не положи – всё нахваливать будет... Золото, а не мальчишка. Правда, глазки почти всегда печальные. Ну да – мама-то далеко осталась...

От этого мамино умиления Боря как-то раз даже ощутил что-то вроде укола сыновней ревности... Но Соболенко таскать с собой всё равно не перестал, хотя многие этого как раз откровенно не понимали. Взять хотя бы того же Новосёлова, невзлюбившего Соболенко ещё с КМБ...

Гораздо спокойнее сокурсники воспринимали то, что Борис не «качал права» с начальством и не участвовал в «кампаниях неповиновения», вроде массовой стрижки наголо или заговора для направления курсовому офицеру (кличка – Плюшевый) по домашнему адресу всё того же конверта с дубовым листком. Ребята как-то инстинктивно понимали, что Глинский не трус и не лизоблюд. Просто – такой «по жизни». Но парень хороший, свой.

И ещё все видели, что Борис не искал дружбы с высокородными «мазниками», как многие. А ведь во многом именно эти «мазники» задавали внешние стандарты виивковской исключительности и были своеобразными законодателями институтской моды. Кроме того, дружба с ними нередко гарантировала благополучие не только в период учебы, но и после выпуска. Тем более что такого рода «зрелость» у многих обнаруживалась почти сразу после поступления. Борис же отзывался о «супермазниках» достаточно иронично, это его присказка: «Мы просто короли поп-музыки – forever!» – стала на курсе крылатым выражением...

Ну и, пожалуй, стоит упомянуть ещё и о том, что, кроме всего прочего, Борис удивлял однокурсников быстро замеченными техническими способностями. Он мог легко и быстро отремонтировать часы в случае несложной поломки. Мог открыть заевший замок на кейсе. А на втором уже курсе отремонтировал однажды в ЛУРе вышедшую из строя аппаратуру. Дело в том, что занятия по радиообмену в авиации (бортпереводу) пользовались среди курсантов дополнительным интересом. Ведь это первый шаг к вылету за границу. Некоторые курсанты, удивляясь тому, что этот технарш делает в языковом вузе, пытались даже прилепить ему кличку Кулибин. Но она не прижилась. Потом Глинского стали называть мухандис¹⁰, а потом уже без филологического выпендрёжа, просто по-русски: Боря-Инженер. Вообще, в институте клички давали легко и почти всем. Часто они были удачными, остроумными и хорошо передавали сущность носителя, его оригинальность в чём-то. Иногда эти клички приклеивались на всю жизнь.

Младшего сержанта Новосёлова, например, за приверженность к порядку и дисциплине тут же окрестили иронично для военного вуза – Военпредом. Он, будучи от природы неглупым, сначала злился, но потом ждал, когда завершится жизненный этап. Кличка, как известно, не галифе, просто так на иной фасон не заменишь. А ещё на курсе Бориса учился Вивальди – subtilный паренёк, заработавший прозвище, естественно, за то, что окончил музыкальное училище по классу скрипки. В том же училище и у того же преподавателя, что и Башмет¹¹, кстати.

¹⁰ Араб-инженер. – Прим. авт.

¹¹ Российский скрипач-маэстро. – Прим. авт.

Одногруппник и тёзка Бориса курсант Балан получил кличку Борух – за характерную форму носа и спортивное «амплуа»: он вместе с многочисленными словарями всегда таскал с собой шахматную доску и постоянно разыгрывал сам с собой какие-то этюды, которые брал из всех мыслимых и немыслимых журналов, в том числе довоенных, иностранных и даже эмигрантских. А ещё «араб Борух» – это запоминающийся «народный» оксюморон, вроде «негра-подпольщика по фамилии Рабинович на заводе Мессершмитта – в начале сороковых годов в Германии».

(Кстати, по поводу настоящей «пятой графы», то есть национальности, ситуация в ВИИЯ складывалась парадоксально – среди преподавателей, особенно старшего возраста, евреи встречались (а в военных и послевоенных наборах они составляли чуть ли не треть – тогда, кстати, и учились и Этуш, и Стругацкий). Но потом курсантов с иудейскими корнями практически не было. Ну разве что Веня Зауэрман – сын сослуживца Леонида Ильича по «Малой земле», главного тыловика восемнадцатой армии. Веня потом ещё и Военно-дипломатическую академию закончил – говорят, вообще единственный её еврей-выпускник. Правда, один национальный нюанс всё же был – в институте традиционно много преподавало и училось армян – считалось, что они чуть ли не генетически предрасположены к перемчивости.)

Так вот: этот Борух оказался очень серьёзным шахматистом (Тиграну Петросяну с казарменного телефона-автомата домой звонил – с воодушевлением рассказывал о только ему постижимой находке!) и с первого же курса стал «второй доской» института. Первую ему всё же не уступил доцент китайской кафедры Борис Григорьевич Мудров. Его задолго до Бориса Гребенщикова за глаза называли БэГэ. Про него говорили: «на всякого Мудрова довольно простоты» – сам-то он был далеко не прост. Это на его занятиях старшекурсники в качестве интеллектуальной разминки могли, скажем, обсуждать на китайском языке, из чего состоит привидение. И приходили к выводу, что состоит оно из собственно привидения и простыни, которую не стоит бояться. А «простынёй» китаисты называли замену иероглифа «китайское» на иероглиф «некое» в словосочетании «китайское государство» – на идеологически «не выверенной» ксерокопии газетного текста оно в оригинале очень уж по-доброму характеризовало враждебно маоистский Китай. И всё это ведь происходило в условиях идеологического абсолютизма! Времена на дворе, конечно, были уже не сталинские, но всё же... Этот Мудров, кстати, чуть ли не в одиночку составил сверхценный до сих пор словарь. Его потом даже сам Дэн Сяопин с уважением показывал Горбачёву – как пример взаимного интереса даже не в лучшие для обеих стран времена...

Что же касается любимца Мудрова «араба Боруха», то он, кстати, в институте прославился не столько шахматами, сколько различными издевательски афористичными объяснительными по разным поводам. Некоторые отрывки были признаны просто шедеврами и вошли в «анналы» ВИИЯ, например такой вот «загибон»: «...отказ от повторного за неполную декаду исполнения обязанностей овощереза прошу расценивать не в уставном контексте, а в смысле непотакания произволу со стороны мл. с-та Новосёлова И. В.»

Кстати, о младшем сержанте Новосёлове: несмотря на полученную кличку Военпред, никаким «держимордой» он не был. Более того, на «самоходы» Глинского Военпред смотрел, в общем-то, сквозь пальцы. Тем более что поесть домашнего он любил так же, как и вся остальная курсантская орава. Будучи старше Бориса всего на год с небольшим, он, может быть, даже казался бы и младше, если бы не сержантские лычки и слишком серьёзный взгляд серых, с прищуром глаз. И ещё у него было слишком развито чувство «социальной справедливости», исходя из которого при назначении языковой группы в наряд по кухне Глинскому слишком часто доставались обязанности котломоя. А быть котломоем в курсантской столовой – это, знаете ли... Это мало кто поймет из не пробовавших. Это «выше высшего предела». Трижды в сутки оттирать быстро густеющий в котлах жир (толщиной с полпальца) –

это уже «фонтан», хотя ещё не «Самсон». «Самсон» начинался потом, когда «счастливчика» ещё сутки после наряда преследовал тошнотворный запах, который словно в кожу въедался через «подменку». «Подменкой» называли ветхое бэушное обмундирование, в котором курсанты напоминали штрафников. От этого запаха не то что есть – смотреть в сторону столовой не хотелось. Зато, сменившись с наряда по кухне (бывало, и к часу ночи!), ребята засыпали раньше, чем добирались до койки. И даже запах не мешал. И зубрить заданное на следующий день уже просто сил не оставалось – а ведь никто из преподавателей не принимал никаких оправданий за невыполненные задания, мол, был в наряде или в карауле. Преподаватели так себя вели не из садизма (многие из них были в свое время такими же курсантами), а чтобы привить молодым железный принцип: задание должно быть выполнено всегда и любой ценой. Был в карауле, а всё равно выполнил? Ты даже не молодец! Это просто нормально. Меньше жалея себя, парень, и у тебя всё получится...

В декабре, что самое обидное – в день празднования шестидесятилетнего юбилея отца (Борис-то и в наряд-то попал из-за чрезвычайной необходимости), произошёл с Глинским один неприятный случай как раз во время наряда по кухне. Его языковая группа принимала наряд от третьекурсников. Так вот, котломой-предшественник к котлам, которые должны были быть отдраены к сдаче наряда, даже не притронулся, решил, наверное, что сменщик-салага испугается и «сглотнёт». Борис не «сглотнул». Запахло серьёзной дракой, и дежурный по столовой, испугавшись последствий, вызвал дежурного по институту: тут, мол, закладку на ужин пора делать, а котлы с обеда не чищены. Вместо дежурного прибыл посыльный в щегольских хромовых сапогах – тот самый «перс» Витя Луговой. Кстати, едва ли не во второй раз после Борисова поступления они и встретились.

Мгновенно оценив обстановку, Луговой по праву старшего тут же остудил закипевшие страсти:

– Ты, молодой, руками-то не маши, ветер нагоняешь, а не май-месяц... А ты, Самарин, не борзей. А то следующий караул у меня до утра не сдашь! И не надо на меня щёлчками дёргать – лишнего на тебя никто не грузит...

И третьекурсник Самарин долго оттирал котлы, зло посапывая, пока Глинский и Луговой обменивались «светскими» новостями. Вот к Луговому Бориса тянуло, несмотря на разницу в возрасте и уже в статусе. Но... Вите было уже не до «детства», у него совсем другая, взрослая жизнь начиналась. Он уже жениться собрался, о чём и успел поведать Борису. Уходя из столовой, Самарин тихо, но очень зло бросил Глинскому на прощание:

– А с тобой, салага, мы ещё встретимся.

Борис ничего не ответил, только издевательски присвистнул вслед третьекурснику.

Конечно, он не мог знать, что они действительно столкнутся через годы, да так, что оба никогда не забудут, ибо как забыть резкий излом судьбы. Не знал тогда Глинский, что его жизнь тесно переплетётся с жизнью этого Самарина... И если бы кто-то сказал что-то подобное тогда, в столовке, Борис бы просто рассмеялся... У Судьбы порой странное чувство юмора... Впрочем, в институте они больше не пересекались, если не считать пары случаев в карауле, когда Самарин делал вид, что между ними ничего не было и что он вообще не знает Бориса.

4

Надо сказать, что в замкнутых мужских коллективах конфликты случаются довольно часто. И курсантская среда во все времена не являлась в этом смысле исключением. Ну а в далёкую советскую пору дрались не только в общевоинских и военно-морских училищах или, скажем, в рязанском десантном (там и драка – не драка, а «факультатив» по рукопашному бою), но и в таких «мирных» заведениях, как, например, Военно-медицинская академия! А ведь про эту академию рассказывали, что там курсанты даже присягу без оружия принимают. Но... Казарма есть казарма. Суровый быт, простые нравы, скученность и физически крепкие молодые люди – ну как тут без драк? Рано или поздно кто-нибудь с кем-нибудь обязательно «углами зацепится». В большинстве военных училищ командиры на драки смотрели сквозь пальцы, если, конечно, не наступали «чреватые последствия», как выражался начальник курса майор Шубенок. Генералам тем более не нужны были эти последствия, но они тоже считали, что «офицер должен уметь дать в морду»... и вообще постоять за свой полк, а то и род войск.

(И то сказать, сразу после Отечественной войны повздорили раз командиры двух соседних полков – танкового и артиллерийского. Вроде как из-за взаимной недооценки вклада своего рода войск в недавнюю Победу. Поэтому, прямо не вставая из-за стола, привели через посыльных в боеготовность свои полки. К счастью, их подчинённые оказались трезвее, и дальше внеплановой тренировки дело не пошло.)

Так вот. Исключением в этом брутальном правиле был, как это ни странно, самый боевой по тем более-менее мирным временам военный вуз – ВИИЯ. Ни на курсе Глинского, ни на старших особых «историй» почти не случалось. Нет, конфликты, конечно, бывали, но их старались давить в зародыше. Если кто-то с кем-то «переходил на бас», к ним тут же подсаживали однокурсники и буквально растаскивали подальше друг от друга. Может быть, эта особенность возникла из-за стремления каждого курсанта попасть в заграничную командировку, а драка легко могла поставить печать «невыездного» не только на тех, кто «выяснял отношения», но и на «попустительствовавших беспорядку». Пару таких «страшных историй» в ВИИЯ бережно пересказывали из поколения в поколение.

Эти почти готические легенды и особый виияковский дух, наверное, и были основными причинами того, что скандальных, вышедших за пределы курса ссор почти не случилось. Драк – тем более. Не было почти и воровства, весьма, кстати говоря, нередкого в других военных учебных заведениях.

Впрочем, одна общая буквально для всех советских военных училищ «клептоманская беда» не обошла стороной и ВИИЯ. Бедой этой было массовое воровство хлястиков с шинелей. На шинели советского образца хлястик пристегивался на две пуговицы, а не прикреплялся намертво. Традиция эта шла с давних пор, когда шинель с отстегнутым хлястиком как бы разворачивалась и могла использоваться как одеяло. Соответственно, попытка намертво пришить хлястик к шинели и тем более отсутствие хлястика рассматривались как совершенно «невозможное» нарушение формы одежды и соответствующим образом карались. При этом почему-то отдельно купить хлястик в военторге было невозможно по определению.

Ну так вот, как только в ноябре курсанты перешли на зимнюю форму одежды, тут-то всё и началось. Хлястики пропадали, просто как корабли в Бермудском треугольнике. Это поветрие напоминало средневековую чуму. Всё развивалось по схеме классической цепной реакции – обнаруживший пропажу тут же норовил обзавестись чужим хлястиком, а то и двумя. И эти два надо было надёжно спрятать. Но в казарме прятать особенно негде, поэтому один носили с собой, второй берегли в укромном месте. А порой ещё один – москвичи хра-

нили дома. Параноя дошла до того, что один курсант пришел к своей шинели подписанный хлоркой хлястик гитарной струной – всё равно не помогло. Кто-то кусачками отхватил – не иначе! А как без хлястика в увольнение идти?

В итоге начальник курса майор Шубенок принял совершенно незаконное решение: посчитав в столбик необходимые затраты, он удержал у всех курсантов из стипендии, составлявшей восемь рублей тридцать копеек, по сорок семь копеек. Причём удержал действительно у всех без разбору – и у «честно обесхлященных», и у не выявленных куркулей. С этими деньжищами майор отправил каптёра Юру Милюкина (предварительно выдав ему четыре списанные шинели) в швейную мастерскую на площадь Ильича. Но и этот отчаянный шаг не смог кардинально решить проблему. Вплоть до третьего курса все поголовно, вернувшись из увольнения, снимали с шинелей свои даже подписанные хлястики. А потом «эпидемия» прошла – так же внезапно, как и началась. Наверное, ребята просто повзрослели...

Дни стремительно складывались в недели, недели в месяцы, Борис и оглянуться не успел, как закончил первый курс и убыл в первый законный месячный летний отпуск. Отпуск этот был, конечно, очень желанным и приятным, но прошел без особых приключений, поскольку Надежда Михайловна увезла Бориса на Чёрное море. Чуть позже к ним присоединился и Глинский-старший. Борис купался и загорал до одури. Познакомился было он с несколькими девушками: одна – смугленькая – даже понравилась, но под бдительным родительским присмотром даже до «предпосылок к разврату» дело не дошло. Так что после возвращения в ВИИЯ Борис с чувством собственной неполноценности внимал сказаниям однокурсников об их летних сексуальных похождениях. Эти посиделки с бесконечными эротическими сказками на виияковском сленге назывались «травлей пиздунка» – грубовато, но зато с реалистической оценкой удельного веса правды во всех этих рассказах...

И снова всё пошло своим чередом. Учёба, учеба, учёба. Время бежит быстро, если не бездельничать – а это исключалось. К тому же у второкурсников для безделья возможностей было не больше, чем у совсем зелёных, только что поступивших салаг, – среднесуточная доза новых иностранных слов и выражений, подлежащих усвоению к следующему занятию, «шкалила» порой за сотню. Курс Глинского был достаточно дружным, но при этом не столько «раздолбайским», сколько «работающим». Так что в близком окружении Бориса как-то не принято было устраивать подпольные выпивоны, как, скажем, на курсе того же Самарина – где виияковский фольклор «исторически» обогащался байками про то, как начальство «прикольнo пресекло» или, наоборот, «счастливо не заметило» заветную пирушку. В группе Глинского, как ни странно, ребята подобрались не то чтобы очень уж слишком правильные, но именно к алкоголю относящиеся достаточно спокойно.

Борис продолжал регулярно сбегать в «самоходы» и всегда благополучно избегал встреч с патрулями. А ведь порой эти патрули устраивали настоящую охоту на «институток», или «виияков», – как с презрением именовали их курсанты общевоинского училища. Их, таких же краснопогонных, в ВИИЯ с неменьшим презрением обзывали «вокерами» (от ВОКУ и английского слова «работяга») или «младшими братьями по разуму». Не отказывали себе в удовольствии «прищучить», „виияка“ и пограничники – «мухтары», и «шурупы» из артиллерийской академии. Гарнизонные патрули любили охотиться именно на виияковцев, чтобы поучить их, блатников, «жизни и службе». Иногда патрули брали институт чуть ли не в кольцо, а многие случаи погонь ушли в легенды и байки. Глинский в этом смысле институтский фольклор не обогатил. Ему бегать от патрулей не пришлось ни разу. Он как-то «просачивался» сквозь все засады.

Однажды Военпред – Новосёлов не выдержал и спросил Бориса после очередного удачного возвращения:

– Слышь, Инженер... Сегодня, ты знаешь, «вокеры» совсем озверели – пять человек повинтили. В том числе Колю-Мамонта, а он как-никак кэ-мэ-эс¹² по лёгкой атлетике. По бегу, между прочим. Не убежал – тремя патрулями затравили, в комендатуру уволокли. Его папа – сам знаешь кто – живую с комендантом Москвы разобрался.

Глинский ухмыльнулся и назидательно воздел к потолку указательный палец:

– Командир, убежать нужно сначала головой, а потом уже ногами. Новосёлов несогласно мотнул головой:

– Это ты зря, Мамонт хоть и «спортсмен», но с головой у него всё в порядке.

– Кто бы спорил? – пожал плечами Борис. – Я и не говорю, что он – дурак. Просто надо обстановку в целом отслеживать. Предугадывать, так сказать, возможные тактические действия противника.

– Да ты просто стратег! – притворно восхитился Новосёлов. – Кстати, «стратег» – по-гречески «генерал». Твои б таланты, да на пользу Отечеству. Ладно, гений «самохода», смотри не зазнайся. А то, знаешь, и обезьяны порой падают с деревьев.

– Типун вам на язык, товарищ младший сержант, – искренне испугался Борис, – накараете ещё!

– Ты ещё через плечо поплюй! – усмехнулся Военпред.

– И поплюю!

Глинский действительно трижды сплюнул через левое плечо. Младший сержант преувеличенно укоризненно покачал головой:

– М-да... Как нам завещал товарищ Энгельс: «Бессилие и страх человека перед дикой природой породили верования в богов». Или это Маркс? Неважно. Комсомольцу, товарищ Глинский, не подобает быть суеверным. Это я вам как старший товарищ и кандидат в члены партии говорю.

– Да, командир, конечно. Буду изживать. А вот когда вы на сессии планшетку в казарме забыли и возвращаться не стали, это как?

– Это совсем другое дело. И не в связи с приметой.

– А в связи с чем же?

– В связи с нехваткой времени и необходимостью обеспечить своевременное прибытие личного состава к месту сдачи зачёта, – отчеканил Новосёлов и тут же постарался соскочить со скользкой темы: – Ладно, суеверный ты наш. Скажи лучше, хавчика-то домашнего принёс в клювике?

– Обижает, начальник, – Борис протянул товарищу доверху набитый снедью пакет, – командиру – первый кус!

Новосёлов тут же выхватил из пакета большой пирожок с печёночным фаршем и начал его с аппетитом уплетать. Глинский улыбнулся:

– Давно хотел спросить, командир. Вот вы сами в самоволки практически не ходите...

– Не хожу, – не переставая жевать, ответил Новосёлов, – совесть не позволяет. Раньше – комсомольская, а теперь – партийная.

И он откусил ещё кусок.

– Вот я об этом, – елейным голосом подхватил Борис. – Понять не могу: в «самоходы» бегать вам партийная совесть не позволяет, а вот хавать принесённое из «самохода» позволяет вполне.

Военпред чуть не подавился от такого наглого коварства, но, откашлявшись, мгновенно нашёлся:

¹² Кмс – кандидат в мастера спорта СССР.

– Вот кто, кто тебе сказал, что позволяет?! Она не позволяет. Она, можно сказать, меня мучает. Я, чтоб ты знал, её преодолеваю. С трудом. Видел, сейчас не в то горло пошло? Это всё она. Моя партийная совесть. Просто зверюга какая-то.

Доев пирожок, Новосёлов немедленно взял следующий. Глинский широко раскрыл смеющиеся глаза:

– Для чего же такие муки, командир?

– А ради вверенного мне любимого личного состава, – сквозь перемалываемый крепкими зубами пирожок ответил командир языковой группы. – Мучное и жирное вредят желудку и снижают физические кондиции. Так что, чем больше съем я, тем меньше вреда остальным. Это в физическом, так сказать, смысле. А в моральном – тоже: это то, с чего ты начал. Принесённая из «самохода» жратва незаконна и аморальна. Так что, чем меньше её останется остальным, тем меньшее зло они совершат. В меньшей, так сказать, пропорции примут участие в коллективном нарушении...

Новосёлов взялся за третий пирожок.

– Вы бы, святой отец, ещё бы о блюде и грехе проповедь задвинули, – захохотал, не выдержав, Борис. – Вам бы в духовную семинарию – партполитработу преподавать.

– Партию не трожь! – продолжал с набитым ртом морализировать Военпред.

– Да не трогаю я твою партию, ты жрать кончай, остальным не останется!

– Останется... Уф... Вкуснющие пироги у тебя мама печёт, – младший сержант сыто сощурился и похлопал себя по животу. – Передай ей большое солдатское спасибо с низким сыновним поклоном. А насчёт твоих «самоходных» талантов – ты всё-таки будь осторожнее. «Жигуль» – «жигулём» – это козырь неубиенный, но всё же...

«Жигули», о которых упомянул Новосёлов, и впрямь были одной из главных причин «неуловимости» Глинского. Отец выполнил обещание и, как только Боря сдал на права, отдал ключи от автомобиля и техпаспорт сыну. И уже с начала второго курса Глинский обнахалился до того, что в «самоходы» не ходил, а ездил. Хотя как сказать – обнахалился? Именно автомобиль и сводил риск к минимуму. В машине Боря держал «незаконную гражданку» – полный комплект, но пользовался, как правило, только курткой. Выбегая из дома, Глинский накидывал её прямо на китель, аккуратно доезжал в таком виде до Танкового проезда, а он, считай, рядом с ВИИЯ, находил место во дворе, парковался, сбрасывал куртку и уже пешком проникал в родной институт – через забор у строящейся санчасти. Правда, места парковок он старался менять, хотя в те времена машины в Москве угоняли нечасто.

Но всё же однажды «жигулёнок» вскрыли и ещё сняли зеркала. Борис быстро восстановил потери своими силами (отца в эту «трагедию» нельзя было посвящать ни в коем случае) и с тех пор стал кататься на машине к институту реже. Хотя полностью отказать себе в этом удовольствии не мог. Глинский не особо афишировал своего «железного коня», но в казарме – как в деревне, все про всех всё знают. Вот и Новосёлов знал, что говорил. И ведь почти накаркал младший сержант! Именно из-за «жигулёнка» чуть было не «влетел» Борис в самом конце второго курса. А дело было так: однажды тихой майской пятницей подъехал Глинский на одну из своих «заповедных» парковок, прямо под стены виияковского общежития – «хилтона». Всё было как всегда, вот только неподалеку стояла девушка, явно ловившая такси или попутку. Борис ещё издали её заметил, потому что не заметить её было нельзя. Невозможно. И дело было не только в её точёной фигурке и шикарной гриве тёмных волос. Она была... вся какая-то яркая, необычайно хорошо одетая для того времени. Фирменные синие джинсы с какой-то бахромой на бёдрах, лёгкие замшевые полусапожки на высоком каблуке, яркая красная блузка с расшитым воротом и короткий замшевый жилет – всё это было не только стильно и даже «эстрадно», но и явно дорого.

Глинский, останавливая машину, даже пожалел, что у него просто нет времени: через полчаса вечерняя проверка. Но не успел он досетовать на злую судьбу, как девушка сама направилась к нему быстрым шагом. Борис и глазом моргнуть не успел, как она открыла пассажирскую дверь.

– Не подвезёте? Я хорошо заплачу...

Глинский глянул в её лицо и ощутил, как по спине бегут мурашки. Лицо девушки было не просто красивым, оно было необычным, очень индивидуальным. Такое лицо с другим не спутаешь, а увидев один раз, уже не забудешь. Тонкие, практически европейские черты странным образом сочетались со смуглостью кожи и странным, каким-то кошачьим разрезом огромных зелёных глаз. Девушка улыбнулась, демонстрируя шикарные белые зубы, а от этой улыбки на щеках у нее заиграли потрясающие ямочки. Оцепеневший Борис с трудом сглотнул непонятно откуда взявшийся в горле ком и, помотав головой, пролепетал:

– Я бы рад... Но... Я – курсант... Я не могу...

В подтверждение своей курсантской участи Борис сбросил куртку, «разоблачившись» до хэбэ. Да так и остался. Незнакомка удивленно повела бровью:

– А что, курсантам запрещено подвозить девушек?

Глинский почувствовал себя полным дураком, понял, что краснеет, и ответил как есть:

– Да не запрещено. Просто... Я – в «самоходе».

Девушка недоуменно обвела глазами салон автомобиля:

– В самоходке? Ваше «ландо» больше похоже на... э-э-э... самокат.

Борис фыркнул:

– «Самоход» – это самовольная отлучка. Ну когда без разрешения...

– А-а, – понимающе закивала девушка, – беглый, значит?

– Ну... вроде того.

– Поня-ятно... К девушке своей бегали, наверное?

– Нет, – Глинский покачал головой, снова почувствовал, что краснеет, и простодушно добавил: – К маме.

– Как трогательно.

Незнакомка снисходительно улыбнулась, но сказать больше ничего не успела, потому что из-за угла ближайшего дома вдруг выскочили три мужика.

Их можно было принять за братьев несостоявшейся Бориной пассажирки: они тоже были высокими, черноволосыми и красивыми. Увидев девушку, все трое разом загалдели на каком-то странном грубоватом языке и замахали руками.

– Ну вот, – с досадой вздохнула незнакомка, – и мой «самоход» не удался... Эх, товарищ курсант, не спасли вы девушку. Стыдно.

И вот тут Борис сказал то, чего сам от себя не ожидал:

– Садитесь быстрее! Я спасу!

Уже пошедшая было к дороге молодая женщина остановилась, удивлённо обернулась и вдруг засмеялась:

– Ишь ты... Гусар какой... Была не была, да? Уважаю, молодец... Да только я уже не могу. Побег – это дело тайное, а когда внаглую, на глазах, – это уже бунт. На бунт я ещё не готова.

Трое мужчин снова что-то закричали, и девушка ответила им на том же непонятном языке.

– Это... цыганский? – спросил Глинский.

Девушка кивнула:

– Знаешь или догадался?

Борис пожал плечами:

– Догадался... Я языки учу... А вы совсем не похожа на цыганку. И ваши... знакомые – тоже.

Незнакомка усмехнулась:

– Приятно встретить специалиста. По цыганам. И по языкам.

Она коротко махнула на прощание рукой и быстрым шагом направилась к громко гомонившей колоритной троице.

– А как вас зовут? – крикнул ей в спину Глинский.

– Виола, – ответила она не останавливаясь. И если женские спины могут что-то выражать, то спина Виолы явно выражала полное отсутствие интереса к тому, как зовут случайного собеседника. Но Глинский всё равно крикнул:

– А меня – Борис!

Она вновь махнула рукой в знак того, что услышала, и ускорила шаг, ни разу не оглянувшись. А Глинский долго смотрел вслед и ей, и всей этой странной и яркой компании. Он смотрел так долго, что едва не прозевал «уазик» комендантского патруля, подкравшийся сзади. Да, это уже было серьёзно: они наверняка узрели не только мятущегося в неположенном месте курсанта, но и номер его авто. Теперь, если захотят, могут найти. А пока пришлось Борису прыгать в свою машину и с визгом покрышек уходить на «запасной аэродром», то есть парковаться за квартал от ВИИЯ, выждать там с четверть часа и только потом, озираясь на каждом шагу, словно диверсант во вражеском тылу, пробираться к институту... На вечернюю проверку – если б она в тот вечер проводилась – он опоздал минут на двадцать...

Борис потом ещё с месяц чуть ли не каждый день приезжал на то место, где увидел Виолу, – благо оно было рядом. Но ни она, ни её колоритные знакомые там больше не показывались. Видимо, в тот день они оказались там случайно... Кстати, вскоре и «самоходы» потеряли актуальность – как только Борис закончил второй и был переведен на третий курс.

5

На третьем курсе пошла уже совсем другая жизнь. Закончилось казарменное существование. Началась эпоха «Хилтона». Никто уже и не помнит, кто первым так назвал общежитие для курсантов с третьего по пятый курс. Но название прижилось настолько, что даже начальники уже только «Хилтоном» и называли это восьмизэтажное бледно-зелёное строение на углу Волочаевской и Танкового проезда – весьма, впрочем, далёкое от стандартов всемирно известной гостиничной сети.

«Хилтон», конечно же, был больше чем общагой, сами курсанты именовали его «духовной надстройкой виияковского бытия». Не сказать что в «Хилтоне» царили такие же свободные нравы, как в студенческих общежитиях, но всё-таки вольностей там допускалось значительно больше, чем в казарме. Все курсанты с третьего курса получали так называемый «вездеход» – пропуск, являющийся одновременно и увольнительной, и – могли свободно выходить в город. Москвичей на третьем курсе ещё заставляли ночевать в «Хилтоне», а начиная с четвёртого курса (из-за нехватки мест) им разрешали жить дома.

Ну а для иногородних виияковская общага становилась порой единственным московским домом. Ведь некоторые курсанты (или уже младшие лейтенанты) из-за длительных заграничных командировок учились и по шесть, и даже по семь лет, ну а по пять с половиной – чуть ли не каждый третий. (В 1976 году в ВИНЯ вообще открыли так называемые «курсы дураков», которые некоторые считают едва ли не образцом военно-филологического образования. На этих курсах бывшим срочным служащим, прослужившим в «красной армии» не менее полутора лет, за 11 месяцев ускоренно вдалбливали португальский, а потом персидский и кхмерский языки. После чего присваивали звания младших лейтенантов и отправляли соответственно, в Анголу с Мозамбиком, Афганистан или Кампучию на два года. По возвращении им приходилось доучиваться ещё долгих четыре года. Следовательно, столько же жить в «Хилтоне». Такая судьба ожидала, например, «португала» Витю Бута – сегодня едва ли не самого известного «оружейного барона».)

Так вот о «Хилтоне». Учитывая то, что зубрежки, конечно, на третьем курсе (не говоря уже о четвертом) было меньше и наряды на кухню тоже ушли в прошлое, свободного времени оставалось достаточно. Распоряжались им курсанты по-разному, и видел «Хилтон» всякое. Туда и девушек, переодетых курсантами, затаскивали, и к горлышкам всех калибров прикладывались, но, по крайней мере, в компании Глинского гитара под чай звучала всё же чаще, чем мат над бутылкой.

(Хотя был случай, когда «понюхавшие пороху» старшекурсники праздновали, не стесняясь, – было дело, к ним в «Хилтоне» присоединялись и такие же по боевому опыту молодые преподаватели, да и не только молодые... Это когда в 1980 году институт наградили орденом Боевого Красного Знамени. Ну как такой случай не отметить, ведь именно эти ребята «сделали» ВИИЯ Краснознамённым! Институт стал единственным вузом Советского Союза, награжденным боевым орденом в мирное для других соотечественников время. Правда, это произошло уже после Борисова выпуска.)

А при курсанте Глинском периодически случались прощания с погибшими товарищами по учёбе. Закрытые гробы со странными венками с иноземными лентами в такие дни выставлялись в фойе клуба, и все курсанты и преподаватели проходили мимо с фуражкой или шапкой в левой руке. Однажды Борис даже стоял в почётном карауле у такого гроба. Погибшего в Африке парня по фамилии Стокоз он лично не знал, но, глядя на его фотографию в курсантской форме, много о чём успел передумать...

Из языковой группы Глинского, правда, в командировки ещё пока никого не отправляли, но все уже знали – скоро. Правда, после одного неприятного случая чуть ли не поло-

вина группы едва не стала «невъездной» – по крайней мере на какое-то время. А дело вышло так: для оформления в командировку в социалистическую Эфиопию заехал в Москву уже выпустившийся «перс» Витя Луговой.

Витя-то начал службу в киргизском городке Майли-Сай в какой-то «жутко продвинутой» части, в которой служили сплошь офицеры. Кстати, в «Хилтоне» его те, кто помнил, встретили, как именинника. Потому что как раз накануне по Центральному телевидению показали документальный фильм о Майли-Сае, да ещё с участием Витиной жены – двадцатипятилетней главной архитекторши двадцатипятилетнего города. Боря Глинский, знавший предысторию Витиной женитьбы, особенно обрадовался его приезду. За разговорами засиделись под кофе с бальзамом далеко за полночь, тем более что разместили лейтенанта Лугового в соседнем с Борисом номере. Именно Луговой и занёс в «Хилтон» оригинальное развлечение – нечто среднее между медитацией и гаданием.

В тёмной комнате зажигали свечу и вызывали духов. Потом крутили блюдце и ловили от духов «откровения»: те вроде как сами направляли движение тарелочки по большому листу ватмана, расписанному разного рода пророчествами-прорицаниями. Кстати, на первом же сеансе выяснилось, что Виктор «на самом излёте в конце концов обретёт свою звезду», а у Глинского «вообще не будет предела возвышению». Борис тогда очень смеялся над предсказанием своей судьбы, и ему даже в голову не пришло отнестись к этой ерунде хоть на какую-то долю серьёзно. Ну дурилка обыкновенная, хотя и забавная. Игра, одним словом.

Милая забава вскоре распространилась по всему курсу и заразила многих. Некоторые москвичи настолько увлеклись, что даже ночевать домой не ходили. А потом на «медиумов» настучали – и притом не на всех, а только на тех, с кого всё началось, то есть на группу Новосёлова. Дело стало оборачиваться совсем невесело, когда Илью вызвали аж к замполиту факультета полковнику Мякишеву. Фаддей Тимофеевич, надо признать, особой «гадючестью» не отличался, но на полученный сигнал среагировать был обязан. Стоя перед полковником навтыжку, Новосёлов признался, что был грех, действительно играли, но не в обскурантистскую, как донесли замполиту, секту, а в самодельную монопольку, наполненную «здоровым социалистическим содержанием».

Дело в том, что настоящая «монополька» (в самодельных чаще вариантах) в Москве только-только входила в моду. И в ВИИЯ эта игра совсем не приветствовалась, поскольку от неё явственно веяло «буржуазным» духом. Ведь участники игры хоть и понарошку, но всё же становились капиталистами – владельцами «заводов-газет-пароходов». Осознавая всё это, Новосёлов как раз и напирал на то, что «ничего такого» не было:

– Товарищ полковник, ничего такого не было. Ну бросали кубики. Загадывали, кто кем станет. Кто – послом, кто – академиком. А кто вот, как вы, товарищ полковник, – посвятит себя трудной, но почётной миссии «инженера человеческих душ».

Замполит долго зло молчал, глядя с испытующим прищуром в чистые глаза младшего сержанта. Потом полковник не то чтобы смягчился, но сказал многозначительно и с подтекстом:

– Хреновая, значит, у вас группа... И командир ты хреновый. Потому что на комсомольскую организацию не опираешься. Опирался бы – давно бы уже разобрался, кто у вас там «ху»...

– Товарищ полковник, я...

– Головка ты от... снаряда! Академики, понимаешь! Послы, твою мать! Иди, разбирайся.

Прозрачный намёк полковника на то, что кто-то из группы Новосёлова стучит, в принципе, не был случайной оговоркой. «Стук» и месть в ВИИЯ никто сверху не насаждал.

Начальству не нужны были дополнительные проблемы с воспитанниками, многие из которых происходили из очень непростых семей. «Стучали»-то в основном на таких. И кто стучал? Как правило, те, кто хотел выслужиться перед начальством. «Мазникам» выслуживаться было ни к чему. Хотя... Витя Луговой когда-то сказал Борису, что иногда стучат и те, кому это, в общем-то, не надо и на кого никогда не подумаешь, – чисто из удовольствия. Развивая свою теорию, Луговой пояснил, что «ябеды» бывают, как клеptomаны, которые воруют из любви к «искусству», а не от страсти к наживе.

Вернувшись от замполита, Новосёлов в полной мере поделился своими невесёлыми мыслями только с Глинским:

– Похоже, крыса у нас завелась...

– Да ладно тебе, Илья.

– Так вот не очень ладно, Инженер. Мякишев мне яснее ясного дал понять – есть у нас в группе «юный барабанщик». Ещё и меня обозвал хреновым командиром за то, что я его до сих пор не выявил.

– Дела-а, – протянул Глинский. – «Ты слышишь, друг, знакомый звук – тук-тук, тук-тук, тук-тук». И как ты собираешься выявлять этого «друга»?

Новосёлов пожал плечами:

– Замполит советовал «больше на комсомольскую организацию опираться»... Может, намёк на кого-то из наших «комсомолийцев»¹³. От противного, так сказать...

Борис всерьёз не воспринял его слова:

– Слушай, а он советовал больше опираться или чаще отжиматься?

– Пошёл ты в жопу! – отмахнулся от него младший сержант. – Это не такие уж шуточки.

Ладно, давай завтра помозгуем, что делать.

«Помозговать» на следующий день им, однако, не удалось, поскольку для Бориса и ещё пятерых курсантов, как выразился начальник курса майор Шубенок, «пробил час профессиональной истины». А если говорить более простым языком, их направляли в первую зарубежную командировку – на бортперевод. (Когда называли гарнизоны, куда предстояло убыть, «араб Борух» ещё раз напомнил о своей природной афористичности, прямо из строя переспросив: «Или или – или – и и?») В смысле: или в один из нескольких гарнизонов, или сразу во все?) Бориса направили в подмосковное Остафьево, в лётную часть с чугунными якорями перед входом в штаб. Там-то Глинский и узнал (хотя, в общем-то, догадывался), что предстоят ему несколько рейсов в Сирию. Перевозить предстояло, разумеется, оружие. Если всё пройдет штатно, командировка должна была занять недели две, максимум три. Рейсы были с «подскоком», то есть с промежуточной посадкой на обратном пути в Югославию.

Глинский еле успел позвонить домой и предупредить мать, что их на пару недель вывозят в загородный лагерь «на полевую практику по тактике». Надежда Михайловна ни о чем спрашивать не стала – она была женой генерала и про такие «практики» слышала не первый раз...

Начвещ эскадрильи выдал Борису положенное лётное обмундирование, а потом протянул ключ от шкафчика, где прикомандированные могли оставить свои личные вещи:

– Держи! Этот у нас – для переводят.

Глинский открыл ячейку и не сразу понял, чьими вещами она была занята. Потом приоткрылся, отодвинул в сторону одежду и прочитал надпись на пластмассовой синей ленте кейса: «курсант Калибабчук». Этот парень учился курсом раньше Бориса и погиб несколько недель назад в Бермудском треугольнике. Собственно, погиб весь экипаж самолёта-разведчика, «работавшего» вдоль восточного побережья США, в основном вокруг Флориды. Фактически их сбили американцы. Фактически – потому что их «фантомы» ракет не выпускали

¹³ Комсомольские активисты. – Прим. авт.

и из пушек огонь не открывали. Они просто прошли слишком близко над нашим самолётом и буквально сбросили его в «плоский штопор». Курсанта тогда похоронили со всем экипажем по месту его постоянного базирования – в Североморске на Кольском полуострове...

Глинский позвал начвеша, и тот молча забрал нехитрый скарб, оставшийся от курсанта Калибабчука. А Борис в соответствующем настроении положил в шкафчик свои шмотки. Впрочем, несмотря на такое невесёлое начало, командировка прошла вполне штатно и без особых приключений. Разве что однажды случилось вот такое: самолёт-разведчик ВМС Израиля минут десять внимал безуспешным попыткам Бориса установить связь с аэропортом Афин, в зону контроля которого должен был войти советский Ан-12. Так вот «еврей» издевательски предложил свои услуги, причём на чистом русском языке: «„Коллега-Аэрофлот! Скажи по-русски, что там „товарищ майор“ просит передать на, Афина-контроль“?» Борис на той же «еврейской» частоте повторил по-английски заученный текст от имени того же Аэрофлота: «Request clearance to enter your zone». Израильский разведчик деловито ответил уже через десять секунд: «Всё о'кей! „Афина-контроль“ прислал „квитанцию“. Сядешь в Дамаске – передай „Хафезу Асадовичу“: „Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый...“»

Пять раз их гоняли до Дамаска и обратно с «обратным подскоком» в Дубровник. В Сирии их дальше аэродрома не выпускали, да и времени на экскурсии особо не было. Разгрузились, заправились, поели югославского лечо, водички попили, покурили, поболтали с «местными» – и на взлётку. Без розыгрыша дело, конечно, не обошлось. Как только первый раз сели, командир приказал переводяге-новичку выкопать артезианскую скважину – мол, воды на дорогу никто не даст. Даже лопату выдал. Но Борис сразу догадался, что это такой прикол...

А под «местными» понимались тоже советские, но те, которые в Сирии находились в длительной командировке. Они-то, собственно говоря, и принимали оружие «для последующей передачи арабской стороне». И всю предполётную подготовку на аэродроме проводили. А с сирийцами Борис практически и поговорить не смог. Так, поболтал немного с офицером из батальона аэродромной охраны – и всё. Главное – то, что араб и Борис друг друга поняли. А это ведь точка профессионального отсчёта. На всю жизнь. Больше повезло с «экскурсией» в Югославию, когда в крайнем (лётчики не любят слова «последний») рейсе они из-за нелётной погоды застряли на двое суток вперёд в Дубровнике.

Экипаж позволил себе расслабиться. Студента (такую эксклюзивно-переводческую кличку экипаж, недолго думая, прилепил Борису в память о «вечном студенте Шурике из „Операции Ы“») командировали в гражданский аэровокзал, чтоб он там «разведкал насчёт сам знаешь...». Глинский сразу нашёл, что нужно. Да и директор, или хозяин, ресторана, сначала строжившийся, вполне прилично говорил по-русски.

Этот директор обслуживал русских лётчиков лично, выпроводив без особых церемоний последних клиентов и распустив персонал по домам. Он, как выяснилось, был партизаном армии Тито, служил чуть ли не в единственном полку югославов, освобождавшем Белград вместе с советскими частями генерала Жданова. Директор в тот вечер захотел вернуться в боевую молодость – послушать нечастые в его краях русскую речь и песни, которые сам же и подсказывал. Старый партизан терпеливо ждал за стойкой бара, когда гости закончат трапезу, смахивал наворачивающиеся слёзы и что-то еле слышно шептал сам себе. Поднося экипажу ещё одну тарелку с «мешане месо»¹⁴ и огромными – с волейбольный мяч – помидорами-«парадизами», он деликатно осведомлялся: «Да ли свэ у рэду?» – «Всё ли в порядке?» Конечно, после такого приема уйти просто так было нельзя, и штурман снял

¹⁴ Распространенное на Балканах блюдо – баранина, говядина, свинина и курятина, приготовленные вместе на одном противне. – *Прим. авт.*

с себя в подарок деду почти новый офицерский ремень. Директор ресторана растрогался, отлучился куда-то ненадолго и вынес «за добре пут» большую бутылку домашней ракии.

В родной ВИИЯ Борис вернулся, что называется, гоголем. Скучных командировочных чеков ему едва хватило на немудрёные подарки отцу и матери и, разумеется, на заветный кейс из «Берёзки». «Президент». Такие кейсы считались знаковым атрибутом курсантов, уже кое-где побывавших и кое-что понюхавших. Руководство ВИИЯ, скрепя сердце, разрешало курсантам ходить с ними на занятия. (Хотя периодически развёртывало военно-патриотические кампании по переходу на офицерские планшеты. Эти кампании всякий раз прерывались вопросом: как в полевую сумку запихнуть тысячестраничный, например, англо-русский «миллеровский» словарь?) Конечно, Глинскому очень хотелось рассказать однокурсникам что-нибудь этакое, и он едва удержался, чтобы историю с израильской подмогой не переделать в легенду о «психической атаке» «фантома»... Но всё же удержался. Однокурсники, пока не бывавшие в заграничных командировках, на него и так смотрели с завистью. Особенно Виталик Соболенко, который долго придирчиво рассматривал кейс Бориса, а потом с философской паузой сказал:

– Вещь. Хотя на твоём месте мог бы быть и я.

– Не напьёшься – будешь, – засмеялся в ответ Глинский¹⁵.

Борису казалось, что всё хорошее только начинается, что впереди ещё очень много интересных командировок в разные страны. Но жизнь очень скоро внесла в его мечты свои коррективы. Буквально через три дня после его возвращения произошли события, ставшие для Бориса самыми памятными чуть ли не за все пять лет учебы. История вышла самая что ни на есть скверная, по-другому и не скажешь. Всё началось с того, что Новосёлова «дёрнули» к начальнику факультета и сообщили о возможной полугодовой командировке в «страну с жарким климатом». Неофициально намекнули, что речь идёт о Южном Йемене. Младший сержант Новосёлов вернулся в языковую группу сияющим, как начищенный пятак, и, естественно, не удержался, поделился радостью. И в тот же день на занятиях по тактике у младшего сержанта пропала карта, которую нужно было зарисовать за противника и «наших». Ничего «стратегического» на карте не значилось, однако в правом углу стоял грозный гриф: «Секретно». Так курсантов приучали к штабной культуре, аккуратности и соблюдению военной тайны.

Так вот, когда занятие закончилось, стал Новосёлов сдавать секретчику свои карты, а одного листа – ещё пустого, не зарисованного, – нет. Вся группа обшарила по сантиметру аудиторию – лист как сквозь пол провалился. Новосёлов скривился, как от зубной боли. Все понимали: не найдётся карта – всё, о командировке можно забыть. И кстати, хорошо, если только о командировке.

– Прав Мякишев, хреновый из меня командир. Давно надо было... Пойдите, а где Соболенко? Куда он...

– А он самым первым свои карты сдал. Ещё торопился куда-то очень, – сказал Борух, что-то прикидывая. – Не переживай, Илья, найдём, не улетела же она... Окна-то не открывали...

– Погоди, – перебил Боруха Новосёлов. – А куда он так торопился?

– Да у его Людки-Латифундии сегодня день рождения, – вспомнил Глинский, – наверное, к ней и рванул.

¹⁵ Здесь обыгрывается диалог из кинофильма «Бриллиантовая рука», где герой Юрия Никулина смотрит на лежащего человека, принимает его за мертвеца и говорит милиционеру: «На его месте должен бы быть я!» Милиционеры отвечают: «Напьёшься – будешь». – *Прим. авт.*

Люда работала библиотекарем в специальном фонде. Неизвестно, кто и за что прилепил ей кличку Латифундия, но задница у неё была действительно ядрёная – большая, но не вислая, а смачная такая, высокая и аппетитная, да она, бедная, ещё и на умопомрачительных шпильках ходила. Последнее время Соболенко пытался ухаживать за Людкой, но она, избалованная многолетним курсантским вниманием, ещё не решила: пора ли ей всерьёз принимать ухаживания или ещё повыбирать?

Борис поймал прямой взгляд Новосёлова и аж задохнулся:

– Ты что, думаешь, это он?..

– Ничего я не думаю, – перебил его Илья, с досады резко махнув рукой. – Но в «монопольку» он с нами играл. Если украл этот пидор... Короче, он постарается её сразу скинуть... Слишком опасный вещдок!

Все сразу засуетились. Кто-то бросился проверять урны и туалеты, кто-то – территорию по дороге от класса до библиотеки. Даже в «Хилтоне» на всякий случай засаду выставили. Соболенко как в воду канул. Глинский же сразу рванул в спецфонд. В принципе, Людка на него всегда многозначительно поглядывала, но Борис делал вид, что не замечает этих взглядов – ведь она нравилась Виталику... Запыхавшись, Глинский чёртом влетел в спецфонд и сразу бросился к Людке, которая даже ойкнула от неожиданности. Впрочем, узнав Бориса, она тут же заулыбалась:

– Приве-ет, а ты чего такой... как на пожар?

Глинский постарался придать своему лицу самое непосредственное выражение и зататорил:

– Людочка, солнышко, с днем рождения тебя, красавица. Здоровья тебе, счастья, любви! И мужа хорошего, чтоб всю жизнь тебя на руках носил, как Руслан свою Людмилу из поэмы товарища Пушкина.

Латифундия зарделась и кокетливо повела бровями:

– Ну, положим, у Пушкина ещё неизвестно, кто ту Людмилу больше на руках носил – то ли Руслан, то ли карлик этот бородатый... Так... ты сюда торопишься, чтобы меня поздравить?

Борис кивнул, внутренне прося прощения за свою ложь:

– Да я еле конца занятий дождался, так хотел тебя в щёчку поцеловать... Можно?

– Можно, – она без колебаний подставила розовую щёку. Глинский нежно чмокнул девушку и непринужденно так спросил:

– Виталька-то тебя поздравил?

– Кто? А, Виталик... Да, конечно. Ещё утром. Вон – тюльпанчики на столе...

Латифундия оглянулась и наклонилась поближе к Борису:

– Слушай, я тут в полшестого с девчонками полянку накрою... Ты приходи. И гитару возьми обязательно. Тот романс из «Дней Турбиных» споёшь... Придёшь?

– Обязательно! Слушай, Люд, а ты не знаешь, где Виталька? Он мне трёху задолжал – очень бы кстати пришлась, если насчёт полянки.

– Ой, да не надо, у меня и так всё приготовлено, – замахала руками Люда. – Ты, главное, сам приходи. А Виталька – он только что забегал. Справочник какой-то брал – старый... Что-то там выписал и убежал.

У Глинского, почуявшего след, часто-часто застучало сердце:

– А что за справочник-то?

Латифундия пожала плечами:

– Да... «джейнс» каких-то лохматых годов... Пятидесятых, по-моему. Я ещё удивилась: зачем ему такое старье? Их ведь и не берёт никто. А тебе-то чего?..

Борис улыбнулся, как мог беззаботно, будто только что уличил приятеля в милой безобидной хитрости:

– Ах, Виталик, Виталик... Хитрец ты наш... Да это он Чапарэлу, нашему преподу по ВБТ¹⁶, что-то сегодня втирал, видно, задружиться хочет. Что-то ему доказывал из истории артиллерии. Людочка, милочка, а можно я тоже тот справочник гляну? Мне с Чапарелом тоже не мешает потравить с умным видом. Зачёт ведь скоро...

– Без проблем. Клади военный билет, ага, пойдем, провожу.

Людка застучала своими высоченными – стальными на вид – шпильками...

Толстые «джейнсовские» справочники по иностранным армиям (которые в Союзе почему-то были секретными) занимали почти полный стеллаж. Они обновлялись каждый год, поэтому старыми почти никто не интересовался, за исключением редких чудачков, любителей военной истории. К ним Соболенко уж точно не относился. Дождавшись, когда Латифундия вернётся на своё место, Глинский начал по порядку пролистывать справочники, начав с самых старых. Из четвертого по счету, за 1957 год, выпала сложенная до размеров ладошки карта... Борис развернул её, потом снова сложил, убрал во внутренний карман и энергично направился к выходу. Люда, возвращая ему военный билет и заглянув в глаза, даже встревожилась:

– Ой, ты это, чего? На тебе аж лица нет.

– Да... похоже, проспорил я кое-что. Самонадеянность подвела... Побегу я, Люд, а то к поляне твоей не успею...

Глинский шёл по коридору и нервически кусал губы. У него в голове не укладывалось, как человек, бывавший у него дома, способен на такую подлость. Правильно, видать, Новосёлов говорил ещё на КМБ. Ну да... И ведь как всё рассчитал! И Новосёлову отомстит – у того командировка «гавкнется», и сам же ещё, глядишь, вместо Ильи поедет... Отправлять-то всё равно кого-то придётся... А Соболенко – следующий после Новосёлова по «партийному списку». Они одновременно стали: Военпред – полноценно партийным, Соболенко – кандидатом в члены партии, кстати первыми в языковой группе...

Новосёлова он нашёл в аудитории. Тот вместе со всей группой в очередной раз перебирал секретные портфели. Борис молча протянул ему карту. У Ильи с нервяка затряслись руки:

– Где нашёл?

– Где нашёл, там уж нет. В «джейнсовский» справочник пятьдесят седьмого года вложил. Чтоб на века. Если б не день рождения Латифундии, хрен бы догадался...

– Соболенко?

– А кто, дух святой? За руку его я, конечно, не поймал, но ведь не сама же карта в спецфонд улетела.

– И чего делать будем?

– Чего делать, чего делать... Думать надо. Нет, ну какая же сука... Ладно, опечатавай портфель, вечером обсудим, что и как...

Но обсудить «что и как» не получилось. Тут же на лестнице Борис встретил Виталика – он с озабоченной физиономией торопился на родной этаж. Увидев Глинского, зачастил:

– Старый, я тут слышал – у Военпреда карта пропала... Чем могу помочь? Кстати, про сабантуйчик у Людки в курсе? Пойдём? У тебя гитара – в «Хилтоне»?.. Ты чего, старый?!

У Глинского задёргалось лицо:

– Сабантуйчик, говоришь?..

Борис понял, что врезал Виталику в челюсть, только когда тот скатился чуть ли не до конца лестничного пролёта. Сам подняться Соболенко не смог – сильно ударился головой

¹⁶ Вооружение и боевая техника. – Прим. авт.

о ступеньки. К нему подбежали офицеры-спецпропагандисты и пытались было оттащить к себе на этаж. Но потом, поняв, что дело серьёзное и без огласки всё равно не обойдется, быстро доложили о драке и о пострадавшем дежурному по институту. Тот мигом поднялся на третий этаж, да ещё прихватил оказавшегося под рукой майора-начмеда с характерной кличкой Паша-понос. Когда к месту событий протолкался Новосёлов, дежурный по институту уже принял решение задержать Глинского «до последующего выяснения обстоятельств». Так что на полянку к Латифундии в тот день не попал ни Борис, ни Соболенко...

После краткого дознания Глинский, что называется, с лёту получил неизбежный в таких случаях «файв», иначе говоря «пять суток ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте». Начкурса уже через день отправил его в исторические Алёшинские казармы. Ничего такого особо страшного на «губе» не оказалось. Правда, беззубый капитан, помощник коменданта, сначала поугал Бориса жуткой улыбочкой и обещанием показать камеру, где, «не переставая, блюют кровью, с тридцать седьмого года начиная», но потом выяснилось, что это у капитана просто приколы такой – для новичков. А зубы он не успел вставить взамен потерянных на футболе. Глинский деликатно предложил помощь мамы, Надежды Михайловны. Помощник коменданта так же деликатно согласился. И, надо сказать, сиделось Борису относительно легко – ну строевой подготовкой занимались по утрам, ну кормили не очень, ну камера – «специфическая»...

Но, во-первых, сходявший к Надежде Михайловне в клинику капитан регулярно поил Глинского кефиром, молоком, а раз даже угостил мороженым. А во-вторых, он после строевой забирал Бориса себе в кабинет – якобы наглядную агитацию подновлять. На самом деле «арестант» деловито переписывал капитану лекции по марксистско-ленинской подготовке заодно с конспектами первоисточников. Но и на то, чтобы подремать на топчанчике, время тоже оставалось.

Правда, вернувшись через пять суток в институт (надо сказать, что на более серьёзные сроки вииваковцев от учебы старались не отлучать), Глинский попытался впарить однокурсникам, что сидел именно в той самой камере, что и Лаврентий Палыч Берия после его исторического и окутанного тайной ареста. Но Борису, разумеется, не поверили. Про эту камеру рассказывали буквально все вернувшиеся с «губы». Некоторые даже и призрак Берии видели, а китаисту по кличке Репс (позднее ставшему серьёзным профессором и всяческим академиком) этот призрак даже оценки в сессии предсказал – две четвёрки, две пятёрки. Правда, рассказал Репс об этом уже после сдачи сессии, но лишь потому, что такое условие сам же призрак и поставил. А как возразишь Лаврентию-то Палычу?..

Ещё через пару дней состоялось комсомольское собрание курса, посвящённое непосредственно Борису. Проходило оно занудливо и чинно. В президиуме сидел замполит факультета полковник Фаддей Тимофеевич Мякишев. Он и открыл собрание:

– Товарищи курсанты! Вольно, садись! Значит, предстоит нам рассмотреть личное дело комсомольца Глинского, учинившего в стенах института безобразную – у меня нет других слов – драку... Ну вы все в курсе... В результате кандидат в члены КПСС Соболенко получил травму. По медицинской справке – ушиб затылка. Значит, довожу, товарищи комсомольцы, до вашего сведения: командование факультета предлагает исключить курсанта Глинского из рядов ВЛКСМ и возбудить перед начальником института ходатайство об его отчислении. А что делать?.. Прошу высказываться. Секретарь, ведите собрание!

Курсанты от неожиданности предложения взволнованно загудели. Все уже, конечно, знали подробности произошедшего и полагали, что если уж кого и наказывать, то «пострадавшего» Соболенко. Борис после того, как прозвучало слово «отчисление», ощутил, как по спине пробежал холодок. Сидевший в президиуме «коммунист Новосёлов» ободряюще подмигнул: мол, не бойсь, всё идет по плану. Илья ещё до собрания предупредил, что началь-

ство хочет устроить спектакль – потребовать строжайших мер в расчете на «комсомолию», которая по молодости примет более мягкое решение. А не считаться с решением комсомольского собрания в данном конкретном случае уже нельзя – демократический централизм, знаете ли...

Начальство было в курсе причин драки, конечно, неофициально, но всё же это влияло на многое. Вообще говоря, на всё. Выступавшие однокурсники, со многими из которых провёл соответствующую работу Новосёлов, вели себя грамотно. Они не бросились оголтело защищать Бориса, но говорили о произошедшем как о стечении драматических обстоятельств. О том, что Борис вступился за честь Женщины – «комсомолец Глинский имел основание считать, что её оскорбил кандидат в члены КПСС Соболенко, да ещё прямо в день её рождения», что, дескать, и обострило ситуацию. Договорились до того, что Борис «лишь отрезвляюще толкнул однокурсника, не рассчитав своих физических кондиций. А тот не удержался на скользкой, только что вымытой лестнице». «Форс-мажор, – витийствовал не по годам рассудительный Борух, – и никакой общественно осязаемой составляющей в данном инциденте нет, и не надо частный эпизод возводить в ранг политической преднамеренности». Мякишев такие словесные пируэты слышал нечасто, поэтому почти проснулся.

Много чего наговорили, напридумывали. Единственное, что так и не было произнесено вслух, – это правда о причинах «безобразной драки». Соболенко ничего не пытался пояснить или опровергнуть, так и просидел всё собрание молча, уставившись в стол. Наконец слово взял секретарь комсомольской организации факультета. Он произнес длинную речь в пользу «сытых волков и целых овец». Дескать, с одной стороны – «налицо, как совершенно справедливо заметил коммунист Мякишев, вопиющий факт неуставных отношений», а с другой – «сила коллектива состоит в вынесении не столько строгого, сколько всесторонне взвешенного и поучительного решения». Своими руладами про одну и другую стороны комсорг вновь усыпил полковника Мякишева, пару раз прикрывшего зевок ладошкой. Остальным эта ритуальная игра и подавно надоела.

Когда перешли к голосованию, за исключение Глинского не проголосовал никто. За строгий выговор – четверо – все партийные, кроме Ильи. Просто за выговор – пятьдесят семь комсомольцев. Борис выдохнул, поняв, что, похоже, на сей раз пронесло. Он и впрямь отделался «малой кровью». Любопытно, что отсиженные пять суток ареста ему даже не записали в карточку поощрений и взысканий. Как выразился однажды тот же Мякишев: «Надо уметь беречь оступившихся».

Вот в ВИИЯ таких и берегли, как могли, но не всех, а только «человеков». «Говна кусков» не жалели. Так что, по большому счёту, в человеческих качествах «индивидуалиста» Глинского никто не усомнился. Однако факультетское начальство, рассмотрев историю с дракой «со всех сторон и под микроскопом», всё же решило, что всю эту дерьмовую интригу можно было разрулить мудрее и взрослее, а не так, как Глинский – рубанул, понимаешь, сплеча... За дело, конечно, но... Горяч парень слишком, вспыльчив. Или слишком на папу надеется? С тех пор и пошла вот эта формулировка «вспыльчив» в характеристики-аттестации Глинского. А попав, так уже оттуда не вылезала всю его последующую офицерскую жизнь. Кадровики на каждом новом месте его службы не решались сами убрать эту характеризующую деталь. И последующим командирам не советовали: дескать, кто-то раньше неслучайно же это написал? А ну как он и вправду что выкинет? Спросят, почему проглядели? А так... никто ничего не проглядел, ясно же написано – «вспыльчив». Какие вопросы?

А что касается Соболенко, то с ним уже разбиралась парторганизация факультета за закрытыми дверями. И он-то как раз получил взыскание в учётную карточку. С формулировкой «за неуважительное отношение к коллективу». Единогласно. Без раскрытия, в чём именно и в чей конкретно адрес это неуважительное отношение выразилось. А потом как-то очень быстро подвернулся случай отправить курсанта Соболенко в командировку в учебный

центр Янгаджа. И отправили Виталика (точнее сослани) так, чтобы заканчивал он учёбу уже со следующим курсом...

А дальше-то что? В конечном счёте институт Виталик закончил и куда-то распределился. Но вот что интересно: однокурсники по ВИИЯ всегда в общих чертах знают, как сложилась судьба того или другого. Особенно если он «простой да грешный». Встречаясь, они обязательно обмениваются новостями и сплетнями:

– Помнишь Вивальди? Он, как уволился, сначала в «оперетте» «скрипел». Потом в Вену укатил. Не знаю, сам по себе или «как»...

– А о Борухе кто слышал?

– Да у него всё наперекосяк пошло. Развёлся, уволился... Пил крепко. Теперь на даче сидит, чуть ли не с котом своим в шахматы играет. А ведь какой умище!..

Ну а если однокурсник попадал в «безгрешную контору» (или почти «безгрешную» – типа МИДа) и, соответственно, надолго «пропадал с локатора», кто-нибудь из однокурсников, улыбнувшись, пояснял остальным:

– Да нормально всё у Мишки. Полковника недавно получил. Его Марина моей Наташке на Новый год звонила...

И никто о подробностях не спрашивает, в том числе памятуя историю о парижском randevу Миньяра.

Так вот, о Соболенко никогда никто ничего не слышал. Скорее всего, он быстро уволился из армии и предпочёл забыть о своем виияковском прошлом. Старый ВИИЯ формировал свои представления о рукопожатности. Часто на всю оставшуюся жизнь...

6

Хоть и не записали Глинскому взыскание в карточку, но с мыслями о «загранке» ему пришлось проститься, по крайней мере, на какое-то время.

– Выдержишь «карантин» – там посмотрим, – туманно пояснил начальник курса, – в спецкомандировках важно не только язык знать, но и, как написано в уставе, «стойко переносить тяготы и лишения воинской службы». А ты у нас вспыльчивый...

Конечно, Борису было обидно. Тем более что по языковым предметам преподаватели его не просто хвалили, но даже ставили в пример остальным и говорили, что у него явный «лингвистический талант». Глинский, кстати, и сам не заметил, как этот талант прорезался. Просто к концу третьего курса количество перешло в качество, и занятия, что по арабскому, что по английскому, перестали быть работой. Превратились в естественное наполнение жизни. А что ещё, если не языки?

Ради самоутверждения и чтобы заглушить обиду, Борис стал неистово истязать себя физическими нагрузками – бегал и полуподпольно качался в спортзале соседствующего с институтом ликеро-водочного завода «Кристалл». А ещё он не бросил своего увлечения гитарой и даже организовал (на четвертом уже курсе) вокально-инструментальный ансамбль из курсантов-старшекурсников. Ансамбль этот был, конечно же, замечен начальством, но вот отношение к нему (по крайней мере, со стороны политотдела) было непростым и неоднозначным. С одной стороны, звучали оценки – «не советская там какая-то музыка», с другой – «иностранные песни – это дополнительная подготовка, и лексическая, и страноведческая». Да и ежегодно навевывавшиеся в институт «купцы» из «безгрешных» контор не раз высказывались за «более системное и разноплановое приобщение выпускников к современным формам культуры».

А что было в традиционной виияковской «культуре»? Из курса в курс неизменное – на вечерних прогулках: «Из-за острова на стрежень». Про то, что у «брачующегося» Стеньки Разина «всё на мази»: «From the Island down the River, / Celebrating Wedding Day / Стенька Разина ships appear / Стенька Разин is OK...»

В итоге разгонять ансамбль не стали. Помогло этому одно любопытное обстоятельство, оказавшее весьма существенное воздействие на личную (в конечном счёте, не только личную) жизнь курсанта Глинского. Дело в том, что как раз почти одновременно с ансамблем в виияковской самодеятельности родился грандиозный проект – музыкальный спектакль, посвященный недавним трагическим событиям чилийского переворота в сентябре 1973 года. А надо сказать, что традиции виияковской самодеятельности были весьма глубокими, да и её возможности – тоже. Некоторые спектакли становились известными далеко за институтскими стенами. И вот постановщик спектакля, курсант выпускного курса, предложил встроить выступление ансамбля в конструкцию спектакля – достаточно условную, почти «капустную». Так сказать, для развития «высокоидейного, остроактуального, одновременно молодежного по подаче художественного материала». По крайней мере именно так было заявлено даже не начальнику политотдела института, а чиновнику из отдела культуры ЦК, получившему задачу лично разобраться, что там курсанты напридумывали.

А напридумывали они, что называется, «богато». Про рок-оперы, позднее собиравшие целые стадионы, тогда ещё особо не слыхали, но идеи уже витали в воздухе. А какая же рок-опера без женских партий? И где взять исполнительниц для них в военном-то институте? Курсисток-то ещё не набрали... Нет, конечно, какие-то девушки в ВИИЯ были, те же библиотекарши-«латифундии», но они пели на очень, как говорится, «застольном» уровне. Кто-то через свои связи предложил привлечь к этому делу двух молодых актрис из цыганского

театра «Ромэн». Тем более что они и внешне вполне себе на чилиек смахивали. По крайней мере больше, чем большинство курсантов – на жгучих чилийцев.

Когда эти «чилийки» пришли на первую репетицию, у Бориса от удивления и неожиданности даже непроизвольно рот открылся... И с этого мгновения, можно сказать, и завертелась его очень нескудная личная жизнь... Да и то сказать – пора бы уж. Четвертый курс – тут и выпуск не за горами. Однокурсники один за другим подыскивали себе «вторых половинок». Часто это были девушки из своей среды, такие, чтоб перед распределением можно было заручиться еще и дополнительной поддержкой через дальновидный брак. Иногда женились на тех же библиотекарях-лаборантках. Поскольку в ВИИЯ их брали, разумеется, не с улицы. Кстати, кандидатуры невест согласовывали лично с замполитом факультета, если, конечно, ему никто сверху не звонил: мол, в таком-то конкретном случае – полный порядок, а подробности знать ни к чему. Даже вам, товарищ полковник. Иногда в ходе таких замполитовских смотрин порой выяснялись любопытные обстоятельства, вводившие в ступор не только институтское начальство, но и ГУК¹⁷, да ещё с Лубянкой в придачу.

Так, например, случилось с Витей Луговым, когда он, кандидат на красный диплом, привёл на «собеседование» свою невесту. Казалось, девушка подходила по всем статьям: и умница, и хорошо держится, и комсомолка-активистка, и ленинская стипендиатка, да к тому же дочь Героя Советского Союза – летчика-испытателя... Но! При подробном рассмотрении вдруг выяснилось, что будущий тесть Лугового – мало того что бывший харбинец и выпускник токийского университета сорокового года, он ещё чуть ли не племянник белогвардейского атамана Семёнова, того самого, «злейшего врага советской власти».

Стали разбираться, как же он Героем стал, – выяснилась интереснейшая, хоть и незатейливая история. Дело было так: к «историческому» XXII съезду партии кровь из носу нужно было «поставить на крыло» новый истребитель, то есть получить подпись госкомиссии на акте приёмки. А госкомиссия подписывать отказывалась, поскольку, несмотря на всю «важность момента», ни один испытательный полёт не обошёлся без «предпосылок к лётному происшествию». Тут зампредсовмина по «оборонке» Дмитрий Федорович Устинов и позвонил директору авиазавода, которого хорошо знал ещё с войны:

– Моисеич! Тебя сколько раз на Героя Соцтруда посылали?

– Да вроде четыре...

– Ну вот, «подымешь» истребитель – на сей раз точно получишь. Никита Сергеич сам предложил... А звоню я тебе, чтобы ты прямо щас мне доложил, что тебе для этого нужно?

Подумал-подумал директор и ответил:

– Дмитрий Федорович, раз такое дело – дайте мне на завод ещё одну «звёздочку» – для испытателя.

– Добро. Давай сразу его фамилию в проект указа – там, перед съездом, не до тебя будет... Я как раз списки на награждение подбиваю... Ну уж и ты, как говорится, хоть сам разбейся...

Разбиваться директору не пришлось. Последней его надеждой и уж точно не последним испытателем служил на заводе почти пятидесятилетний беспартийный старший лейтенант Митропольский. А репутация у него была «лучшего, но опального стрелка». Лётчик от Бога, но по разным причинам с не складывавшейся карьерой.

И ведь «поднял» старлей истребитель. Ну и, когда госкомиссия всё подписала, когда все всё отпраздновали и обмыли, стали на испытателя наградные документы оформлять. А раз на Героя, то «с глубоким бурением». И вот только тогда и разобрались, кто он и откуда. А когда разобрались, не только директора завода, первого секретаря обкома и «авиастрои-

¹⁷ ГУК – Главное управление кадров Министерства обороны. – Прим. авт.

тельного» министра, но и самого председателя КГБ Семичастного чуть кондрашка не хватила. А деваться уже некуда – «первый»-то уже всё завизировал. Не объяснять же ему, что из «недоразоблаченного врага социалистического Отечества» вырастили вполне себе Героя Советского Союза. Так и получил «семёновец» высшую награду своей, строго говоря, не родины...

Откровенничая, Витя даже рассказал Борису, как там было дальше: уже на вручении Звезды в Кремле герой-«семёновец», пользуясь неглубокими, скажем так, познаниями Хрущева в поэзии, осмелев, продекламировал четверостишие своего родственника-харбинца, широко известного среди русских эмигрантов поэта Арсения Несмелова. Дело в том, что поэт Несмелов, он же колчаковский поручик Митропольский, умер в сорок пятом году в тюрьме НКВД. В нашей стране он получил известность благодаря одной из самых заводных песен Валерия Леонтьева: «Каждый хочет любить, / И солдат, и матрос, / Каждый хочет иметь / И невесту, и друга...»

А Семичастный-то, чтобы не пострадать за «вопиющий недогляд», материалы расследования не то чтобы спрятал, но... как-то о них забыли поначалу... А вскоре Героя-испытателя с почётом, но очень настойчиво проводили на пенсию. А потом, после бегства на Запад Светланы Аллилуевой, ушёл и сам Семичастный...

Так вот, факультетское начальство «по-товарищески» советовало Луговому «ещё раз всё обдумать и хорошенько взвесить». Но Витя оказался «мужиком» – решил жениться и женился. Не замандражировал. Несмотря на то что рассчитывавшие на него «безгрешные фирмы» после этого к нему слегка охладели...

Однако вернёмся к Борису и встреченным им на репетиции «чилийкам» из театра «Ромэн». При виде этих модно одетых молодых женщин рот у Глинского раскрылся не из-за их неземной красоты (хотя обе были, прямо скажем, очень даже очень), а из-за того, что в одной из них он узнал Виолу. Да-да, ту самую Виолу, которую он когда-то не смог подвезти. Борис узнал её мгновенно, с первого взгляда, хотя с той встречи прошло почти два года, да и длилась-то она всего несколько минут... А вот!

Виола, надо сказать, Бориса поначалу не узнала. Или сделала вид, что не узнала. Более того, на первой репетиции, разбираясь с курсантом-постановщиком, кто где стоит на сцене и кто когда на неё выходит, она называла Глинского, между прочим лидера ансамбля, не иначе как «тот высокий мальчик с гитарой». Да ещё со смешком эдаким, подчеркивающим дистанцию между ними. А что ещё может так распалить мужчину, как не подчеркивание женщиной дистанции между ними. Тем более что Глинский почти физически ощутил, как практически все курсанты – участники спектакля «сделали стойку» на артисток. А им явно нравилось находиться в центре мужского внимания. Они явно были привычны к такому вниманию...

На первой репетиции Борис только бросал на Виолу пламенные взгляды, подойти не то чтобы не решился, а просто как-то не сложилось: она ни на минуту не оставалась одна, и все были действительно очень заняты. К тому же он, растерявшись от неожиданной встречи, всё никак не мог придумать предлог, под которым можно было бы подойти и напомнить... Или, может быть, лучше не стоит напоминать? Тогда ведь всё как-то не очень удачно получилось. Так, может, раз она сама не узнаёт, вроде как «с чистого листа» всё начать? Весь в этих метаниях, Глинский не заметил, как репетиция закончилась, и курсанты толпой пошли провожать девушек до КПП. Прощаясь со всеми, Виола заметила:

– Как у вас тут интересно! – и как бы невзначай, вскользь бросила взгляд на Бориса. Тот вспыхнул, потом подался было вперёд, но артистки уже вышли на улицу, где за рулем «Волги» их поджидал длинноволосый огромный бородач – как показалось Глинскому, один из тех, от кого «сбегала» два года назад Виола.

Следующей репетиции, назначенной аж через неделю, Глинский еле дождался. А дождавшись, вызвался, несмотря на смешки товарищей, отнести на КПП заявки на пропуска

для артисток. Там он их и встретил, добровольно возложив на себя обязанности проводника, чтобы девушки не заблудились по дороге к клубу. Хотя заблудиться там не получилось бы у слепоглухонемого олигофрена. Артистки кивнули ему, как доброму знакомому, и Глинский решил представиться, воспользовавшись ситуацией:

– Борис, – сказал он и зачем-то добавил: – Восток, четвертый курс... вторая арабская языковая группа.

Девушки заулыбались:

– Виола. Цыганская... языковая группа.

Вторая артистка взмахнула томно ресницами и не менее кокетливо произнесла:

– Кира. Тоже выпускница «гнесинки». Совсем в недавнем, если вы оценили, прошлом.

Они обе снова прыснули, окончательно смутив Глинского, и тот замолчал до самого клуба. Лишь заходя уже внутрь и придержав для артисток дверь, он вдруг неожиданно для самого себя спросил тихо:

– Виола... А вы... Вы меня помните? Я однажды чуть было не подвёз вас – здесь, недалеко от института... Я ещё тогда в «самоходке», как вы выразились, был.

Виола посмотрела на него без удивления, с прищуром и ответила так же тихо, чтобы подруга не услышала:

– Я-то тебя сразу вспомнила... А вот ты... Я уж думала, что подойти так и не решишься.

Борис осторожно взял её под локоть:

– А я... Я потом на это место долго приезжал... Почти каждый вечер...

Виола мягко высвободилась:

– А зачем?

– Как зачем? Чтобы вас встретить...

– И зачем?

– Ну просто... потому...

Виола вздохнула вроде как с сожалением и покачала головой:

– Вот как раз не просто... Милый мой, ты – хороший мальчик, красивый, у тебя глаза добрые... Но... не надо ничего. Ладно?

Боря даже остановился:

– Но... но почему?!

Виола снова вздохнула:

– По многим причинам. Хотя бы потому, что я тебя старше. Тебе сколько? Двадцать два? А мне двадцать семь. Почти.

Борис вспыхнул – снова она подчеркнула дистанцию. Да ещё мальчиком назвала... Он насупился и неожиданно сказал хмуро:

– Ну и что, что двадцать семь... Вполне ещё комсомольский возраст. Из комсомола только в двадцать восемь по возрасту выбывают...

Виола, явно не ожидавшая такой аналогии, хлопнула глазами и вдруг звонко расхохоталась:

– Двадцать восемь? То есть у меня ещё небольшой запас времени есть? Ой, не могу... Умеете вы, товарищ курсант, стареющую даму успокоить...

На её смех обернулась Кира, быстро глянула на лица Виолы и Бориса, что-то такое поняла и спросила едко:

– Так мы репетировать идём или куда? В хохотушки играть? Что называется – пусти лису в курятник. Боря, милый, ты её не знаешь – она у нас заслуженная сердцеедка РСФСР.

– Что?! – Виола гневно сверкнула глазами и по-цыгански гортанно сказала Кире что-то обидное.

Кира тут же ответила, и вот так, под перепалку – наполовину шуточную, наполовину серьёзную, – они и вошли в актовый зал... С тех пор так и пошло – Борис жил от репетиции до репетиции, встречал и провожал Виолу, пытался преодолеть дистанцию и получить номер её телефона, а она всё переводила в шутки. Хотя бородач из «Волги», привозивший и отвозивший девушек, посматривал на Бориса уже вполне серьёзно. Нехорошо так посматривал. Да и Кира, поглядывая на них, только головой покачивала, мол, не к добру, ребята, вы эти игры затеяли, ох, не к добру...

Как ни странно, нараставшее эмоциональное напряжение не мешало работе над спектаклем, а наоборот, скорее помогало: и Борис, и особенно Виола играли и пели необыкновенно проникновенно, с подъемом и заражали своей энергией всех остальных... Глинский и оглянуться не успел, как дело уже к генеральной репетиции подошло. На неё, кстати, вновь появился тот давешний товарищ из ЦК, решивший, так сказать, проверить всё «живую».

Посмотрев прогон, чиновник в восторг не пришел. Нет, пели-то ребята неплохо, но вот «чилийки»... Виола и Кира на генеральную репетицию вместо привычных джинсов надели «а-бал-денные» короткие белые платья, под которыми и сверхдефицитные по тому времени колготки тоже воспринимались как вызов социалистической нравственности. А уж высокие каблуки? И всё это великолепие, по мнению уполномоченного партией товарища, как-то не очень подходило для драматических сцен о героически погибших Сальвадоре Альенде и Викторе Хара. И вообще... Откровенной чувственности и гендерного взаимопритяжения в спектакле было решительно больше, чем политического пафоса и классовой непримиримости...

Курсант-постановщик откровенно растерялся и не знал, что и возразить. Все разволновались – столько времени потратили, столько сил... Неужели напрасно? Положение спас Борис. Он с непонятно откуда взявшимся красноречием выступил перед гостем из ЦК, убеждал его, что «образы прекрасных чилиек символизируют светлое будущее чилийского народа, борющегося против империалистического засилья». А подкрепил своё пламенное выступление ещё и напечатанной в журнале «Огонёк» репродукцией картины Ильи Глазунова, как раз и посвящённой Чили. А на этой картине, как ни странно, была изображена девушка, удивительно похожая на Виолу. И даже почти в таком же коротком белом платье. Глазунов оказался последним гвоздём в гроб идеологических сомнений. Дело в том, что уже тогда, несмотря на весь свой «фрондизм», он пользовался неформальным расположением чиновников от культуры. Так что спектакль со скрипом, но разрешили. Когда начальник политотдела института под ручку с цековским гостем чинно удалились из зала, вся актерско-курсантская братия закричала «ура!» и принялась качать Бориса. А он и не возражал. Отдался, так сказать, заслуженному триумфу. Скромный такой герой, спасший плоды совместных трудов. Курсант-постановщик потрясал «Огоньком», гладил себя по стриженной голове и заливался счастливым детским смехом:

– Нет, Боб, ну ты даёшь! А главное – Глазунов! Глазунова-то ты где откопал?!

Глинский загадочно молчал. Ну не объяснять же всем, что репродукцию он увидел буквально накануне чисто случайно – на столе у всё той же Людки-Латифундии в спецфонде... Ну и забрал с собой, потому что чилийка на Виолу похожа, а о прочем Борис в те дни и не думал. Виола быстро и по-хозяйски отобрала у постановщика журнал с Глазуновым, а когда Бориса поставили наконец-то на пол, поцеловала его в щёку. Под аплодисменты. Кира, впрочем, сделала то же самое. Причём её-то поцелуй был даже более долгим и пришёлся ближе к уголку рта Глинского – что также вызвало аплодисменты.

А через несколько дней состоялась премьера. Несмотря на все тревобления и мандраж артистов, она прошла с оглушительным успехом. Несколько песен-арий пришлось даже исполнить «на бис». Переполненный зал хлопал аж стоя, а начальник политотдела аплоди-

ровал громче всех и гордо посматривал на воодушевлённых зрителей, всем своим видом показывая, что и он внёс в спектакль посильную лепту. Постановщик даже пытался вытащить его на сцену, но полковник предпочёл скромно остаться в партере. Потом, за кулисами, естественно, отметили успех. Глинский не притронулся к «контрабандным» шампанскому и даже коньяку, а вот Виола выпила несколько рюмок. Кира, кстати, тоже – на брудершафт с постановщиком... А потом...

Потом Борис просто тупо похитил Виолу. Он заранее подогнал свой «жигулёнок» прямо к клубу под предлогом разгрузки-погрузки реквизита к спектаклю... Остальное было делом техники. Дежуривший за КПП в «Волге» бородач дремал и ничего не заметил.

Глинский мигом доехал (нет, долетел) до дома. Отец, как обычно, был в командировке, мама – на даче... Целоваться с Виолой они начали ещё в машине, на повороте к Фрунзенской набережной перед домом Бориса – и долго-долго не могли оторваться друг от друга. А когда они всё же вышли из автомобиля, Виола неожиданно засмеялась:

– Всё-таки подвёз... Ты всегда добиваешься своего?

Борис ничего не ответил, взял её за руку и повел в квартиру, задыхаясь от переполнявшей его страсти. В квартире они выпили уже вместе хорошего коньяку из отцовского бара, Борис зажёл фигурную рижскую свечу и поставил на магнитофоне главный хит года – «Souvenirs» Демиса Руссо. Когда он начал её раздевать, она слегка посопротивлялась, потом прерывисто задышала и... В ней была та степень податливости, которая сразу позволила Борису почувствовать себя мужчиной. Словно не был он, по сути, зелёным, неопытным юнцом... Они не спали всю ночь, буквально изнунив друг друга бесконечными ласками... Под утро Виола, всё же сделав над собой усилие, оторвалась от него, отползла на край широкой родительской кровати и прошептала, задыхаясь:

– Всё... всё! Не могу больше... Ты так убьёшь меня. До смерти за... любишь... Мальчик мой... Я думала, так только цыгане... могут.

Борис блаженно шурился, прислушиваясь к истомной лёгкости, наполнившей всё тело. Виола, не стесняясь наготы, встала и, покачиваясь, прошла по квартире. У портрета четы Глинских, где Владлен Владимирович был изображен в парадной форме, она остановилась и долго, меняя мимику губ, рассматривала его.

– М-да... Артистка-цыганка и генеральский сын. Есть в этом что-то... мелодраматическое и... старорежимное.

– Почему? – не понял шутки Борис. Ему было не до шуток, он всё воспринимал слишком обострённо. Виола улыбнулась с лёгким, едва заметным оттенком горечи:

– Сладкий мой... А ты не знаешь, что до революции офицерское собрание не одобряло альянсов с артистками? Их приравнивали к гувернанткам и маркитанткам. И даже хоронили за кладбищенской оградой... Про «пятый пункт» я просто молчу – евреек и цыганок любить можно было только тайно.

Глинский вскочил с кровати и подошёл к ней, обнял, начал успокаивающе поглаживать:

– Перестань. Это всё при проклятом царизме было.

– При царизме?! А много ваших на еврейках женятся? А? Про цыганок я просто молчу! Ой! Что... что ты делаешь?

Успокаивающие поглаживания перестали быть такими уж однозначно успокаивающими.

– Ой! Подожди! А-а... Боря... Хоть до кровати... Боря... О-о-ох...

Беря её, он всё время испытывал помимо прочего ещё какую-то наркотически пьянящую радость победителя: он её добился! Добился, несмотря на «дистанцию», на её возраст, на их цыганские порядки... Из квартиры они не выходили почти сутки. Благо следующим

днём было воскресенье, а потом... Потом они виделись почти каждый день, изыскивали любые возможности, чтобы отдаться друг другу. Однажды, не рассчитав убийственную силу своих поцелуев, Виола и Борис предались любви в самом что ни на есть её телесном выражении прямо в автомобиле, и не сказать чтобы совсем уж в безлюдном месте, а в первой тогда традиционной московской пробке – на развилке Ленинградки и Волоколамки...

Они просто очумели друг от друга. А может, предчувствовали, что долгим счастьем им не дано насладиться, и торопились насытиться друг другом... Хотя ведь, кому не известно, что подобный голод так не утолить. Впрок, как известно, не налюбишься... Сумасшествие продолжалось почти месяц, Глинский совсем «забил» на учебу, а потом...

...Потом часть труппы театра «Ромэн» вместе с Виолой должна была отправиться на гастроли в Иваново. Борис рванул к матери в клинику и попросил сделать ему справку о болезни. Надежда Михайловна всё мгновенно поняла, посмотрела внимательно на похудевшего сына и разохалась:

– О чём ты думаешь? У тебя же сессия на носу!

Но потом, вспомнив фронтовую медсестринскую молодость, справку всё же сделала. Глинский помчался на своем «жигулёнке» в Иваново, успел к концерту, купил у спекулянта билет на первый ряд. Виола его, конечно, заметила, заметил его и тот бородач из «Волги», оказавшись не только водителем, но и антрепренёром... Спев три цыганских романса, Виола вдруг прямо со сцены рассказала зрителям о «чилийском» спектакле в ВИИЯ (назвав его почему-то «школой разведчиков») и неожиданно объявила арию из него, попросив Бориса подыграть ей на гитаре. Спеть-то они вдвоем спели и даже вызвали шквал аплодисментов, но после спектакля грянул скандал, устроенный бородачатым антрепренёром. Дело чуть до драки не дошло, и Виола уговорила Глинского уехать в Москву. Он считал часы до её возвращения, а когда она вернулась, Борис понял: всё плохо, и не просто плохо, а так, что хуже и быть не может. Он пытался её целовать и обнимать, но она не позволила, оказавшись непреклонной, удивительно сильной и на этот раз совершенно неподатливой.

– Что случилось? – севшим голосом спросил Борис. Виола грустно, как-то безнадежно улыбнулась:

– Случилось... то, что и должно было... Всё, Боря. У нас, у цыган, свои законы... Знаешь, ведь театр «Ромэн» для нас – больше чем просто театр. Вся наша элита вокруг него... крутится. И наш главный – он больше, чем просто руководитель театра... Ему уже всё доложили. Со мной был серьёзный разговор... Всё, Боренька. Не звони мне больше.

– Подожди! – взвился Глинский, хватая её за руку. – Что это за Средневековье! Мы же с тобой можем сами...

Она мягко высвободила руку:

– Нет. Не можем. Я, по крайней мере, не могу. И не хочу. Всё, Боренька, всё. Мне тоже очень больно. Не делай так, чтобы было ещё больней. Береги себя. Против всего мира не пойдешь – наши тебя не примут, а твои – меня...

– Подожди, подожди...

– Нет, Боря, всё. Всё, мой сладкий, всё... Прощай и строй свою жизнь.

Когда она ушла, Глинскому показалось, что у него остановилось сердце. Двое суток он не мог уснуть, почернел весь. Много раз пытался ей звонить, но она не отвечала на звонки. А потом «Ромэн» опять укатил на какие-то гастроли... Перед самой сессией у Бориса произошёл тяжёлый разговор с отцом – Надежда Михайловна после некоторых колебаний всё же рассказала ему о романтических похождениях сына. Генерал сначала не придавал «любовной драме» большого значения, но неожиданно ему вдруг позвонил старый приятель из ГУКа, тоже генерал, предложил зайти на чашку чая и разговор. Этот гуковец, начав с пустяков,

вдруг, как бы невзначай, упомянул о встрече с Николаем Сличенко¹⁸ и его ещё более влиятельными друзьями... А потом плавно перешёл к делу: мол, пошли слухи, что твой Борис «не там» ищет своё будущее... А ведь парень-то перспективный и из хорошей семьи... Гуковец говорил тихо, но убедительно, с самой доброжелательной улыбкой:

– ...Давно хотел тебе сказать. Ты бы, Владлен Владимирович, обратил внимание на сына... У парня выпуск не за горами, а он на ликёро-водочном заводе втайне от товарищей какой-то не нашей физкультурой занимается... Кстати, есть сигналы, что там и подзрительной литературой обмениваются... Ладно бы просто «Плейбой» – с «Плейбоем» ещё полбеда, но там ещё и махровая антисоветчина вроде «Собачьего сердца»!.. Как его?.., который Мастер-Маргарита... Самодеятельный ансамбль организовал, спектакль с западной музыкой... Туда, кстати, серьёзные люди двух артисток из «Романа» порекомендовали, но... Получился-то ресторанный балаган с голыми коленками. Кабаре – на серьёзную, сам понимаешь, тему... С артисткой этой главной опять же некрасиво получилось, в Иванове концерт скандалом кончился... Да ещё он там про какую-то «школу разведчиков» со сцены рассказывал, а это вообще... Если так пойдёт дальше, у Бориса будут серьёзные проблемы с распределением. Но кто, кроме вас, ему скажет... А вы, уважаемые папа с мамой, как будто ничего не понимаете, в счастливом неведении пребываете. Парня-то спасти надо.

Домой Глинский-старший пришёл злым как чёрт. И разговор с сыном вышел даже не жёстким, а жестоким. Надежда Михайловна, обычно острая на язык, сидела тихо как мышка, украдкой поглядывала то на мужа, то на сына. А Борис угрюмо слушал отца, постукивавшего в такт своим словам кулаком по кухонному столу:

– Значит, так: завязывай свои художества! Либо ты, как человек, закончишь институт и будешь Родине служить, либо прямо завтра иди петлять и плясать. С цыганами-молдаванами... Хоть с таджиками-люля¹⁹. И пока за ум не возьмёшься – ключи от машины – на стол!

Борис болезненно сморщился – «жигулёнок» помогал ему переживать первую в его жизни личную драму. Он катался на нём по ночной Москве и вспоминал, вспоминал... Каждый угол Москвы напоминал о Виоле. Точнее, и не вспоминал – он забыть не мог... Салон «жигулёнка», казалось, ещё хранил ароматы её дерзких духов... Ключи он молча положил на стол. Генерал сгрёб их в руку и тяжело вздохнул:

– Я на твоём «коне» ездить не собираюсь. Сделай так, чтоб я тебе эти ключи поскорее отдал... Сдай сессию...

Сессию, надо сказать, Борис сдал вполне прилично, без троек. Наверное, мог бы и лучше, да как-то куража не хватило. Генерал сдержал слово и вернул сыну ключи, но вдоволь покатавшись после долгого перерыва Борису не пришлось: его законопатили в трехмесячную командировку в Мары – учебный центр для слушателей из арабских стран. Про Мары в переводческой среде ходила невесёлая поговорка: «Есть на свете три дыры – Фрунзе, Янгаджа, Мары». Глинский подозревал, что командировка эта свалилась на его голову не случайно, а так, чтоб яснее представлялась «сермяжная» альтернатива службе в Москве. И надо сказать, всю «сермягу» Борис прочувствовал сполна. Жуть тамошнего быта как-то притупила боль расставания с первой любовью. Да и время шло, а оно, как известно, лечит. По крайней мере так говорят. В Марах Глинский по-настоящему закурил с тоски, хотя раньше только баловался, и, вернувшись домой, впервые начал курить при родителях. Те, конечно, поворчали, но так, для проформы, поскольку сами были заядлыми курильщиками ещё с фронта.

¹⁸ Всесоюзно известный артист, руководитель цыганского театра «Ромэн». – *Прим. авт.*

¹⁹ Кочующая, главным образом, по Таджикистану община цыган, известных своими музыкальными способностями, но не имеющих даже своего письменного языка. – *Прим. авт.*

...Вечерами Борис сидел дома и читал, отец тоже как-то надолго выпал из своих командировок, так что семья теперь всё время ужинала и завтракала вместе. На этих семейных посиделках Надежда Михайловна исподволь начала зондировать тему женитьбы сына. Всё чаще и чаще в этих разговорах стала всплывать «эта милая девчушка Оля» – дочка Левандовских, соседней по даче:

– Ты знаешь, Боря, Олечка так расцвела, так похорошела. Ты бы её не узнал...

Борис в ответ лишь угрюмо усмехался, но от последующего предложения навестить «по-соседски» Левандовских отказываться не стал. Просто не захотел спорить и расстраивать родителей... Да и душе было как-то всё равно... Посиделки у Левандовских откладывать не стали, и генеральские жены всё организовали в ближайшие же выходные. Надежда Михайловна и Алевтина Ефимовна, похоже, уже всё между собой решили. Смотрины-«праймериз» затянулись глубоко за полночь. Никакой такой особой «похорошелости» в Ольге Борис не обнаружил. Как была белобрысой, так и осталась. Ну телом чуть-чуть налилась – в бёдрах, в основном. Но всё равно – «без сисек»... К тому же явно «чумная» недотрога. Так и не дождавшаяся открытия женской группы в ВИИЯ, Оля поступила в иняз имени Мориса Тореза. А вот отец её, Пётр Сергеевич, получил уже третью звезду на генеральский погон, стал кандидатом в члены ЦК и членом коллегии... Генерал Левандовский, основательно выпив, одобрительно поглядывал на молодых и совсем по-свойски рассказывал генералу Глинскому:

– Приходил к нам как-то ваш Борис. Явно с прицелом. Дескать, сигареты у него кончились... Но ведь Олечка не курит!

Олечка лишь скромно опускала глазки. Она была очень послушной девочкой, и Борис с каким-то холодным равнодушием подумал, что из неё, может быть, действительно получится хорошая жена... Вскоре состоялась и помолвка, пафосно, но безвкусно обставленная обоими генеральскими домами. До помолвки Ольга обращалась к Борису исключительно на «вы», на помолвке она первый раз разрешила себя поцеловать. Скорее в висок, чем в щёку. И твёрдо сказала: до свадьбы ничего не будет, потому что нельзя... А Борису и не так чтобы уж очень хотелось её в постель уложить. Хотя молодой мужской организм всё же реагировал на здоровое и изысканно, надо сказать, ухоженное девичье тело...

Свадьбу – сто лет её не вспоминать! – сыграли в ресторане «Прага». Свидетелем Борис пригласил Илью Новосёлова. Со стороны Ольги была какая-то её однокурсница Татьяна, подписавшаяся той же фамилией, что и у одного из членов политбюро... Генерал Левандовский, видимо сохранивший обиду на ВИИЯ за то, что его дочке не довелось там учиться, произнёс тост. Пожелал Борису после окончания его «московского языкового училища», то есть «МЯУ» (даже хвост за собой изобразил!), поскорее поступить в «нормальный человеческий вуз». Под этим вузом Петр Сергеевич имел в виду Военную академию Советской армии, для простоты именуемую в его кругу «консерваторией»²⁰. Пришедшие на свадьбу многочисленные сослуживцы Левандовских и лишь несколько – от Глинских понимающе закивали...

Первая брачная ночь прошла в квартире Глинских, которые тактично оставили молодых одних. Не было ни свечи, ни музыки... Только кровать – та же самая, родительская, что в ту ночь с Виолой. И те же простыня, наволочки и пододеяльник... Секс получился каким-то выпрошенным и односторонним, что ли. Собственно, его и не было – кто сказал, что она низм – когда руками? А Оленька тогда расплакалась и по-детски спросила: «Неужели без этого нельзя?» А потом, нахлобучив какую-то бабушкину ночнушку, говорила, что не хочет детей, что ей нужно доучиться и вообще больно...

²⁰ Принятое в советское время наименование Военно-дипломатической академии. – Прим. авт.

Утром неожиданно рано зазвонил телефон: это была Виола. Она откуда-то узнала о свадьбе Глинского и решила «поздравить». Откуда женщины всё узнают? Она насвистела в трубку ту мелодию из «чилийского» спектакля, особо памятную по концерту в Иванове, а потом издевательски сказала:

– Поздравляю. Горевал ты по мне недолго. Кто бы сомневался...

«Подожди, Виола!» – чуть не закричал Борис, но она бросила трубку.

Борис попытался перезвонить ей по ещё не забытому номеру, но на том конце провода трубку не снимали. Борису показалось, что звонок был международным, значит, звонила Виола откуда-то издалека. Глинский покосился на жену – она спала, по-детски свернувшись калачиком на краю кровати. Или делала вид, что спит. Вздохнув, Борис пошёл на кухню, достал из шкафа пепельницу и закурил. На сердце у него была тоска. И не простая, а, что называется, лютая...

7

...Пятый курс пролетел стремительно. Тем более для Глинского, с его обозначившимся укладом жизни женатого человека. И вообще, быстро как-то всё закончилось. Вроде бы совсем недавно вступительные сдавали, глядь – а уже надо сдавать «госы». И как-то разом повзрослевшие пятикурсники ностальгически вздыхали, вспоминая свои «молодые» годы, и терзали друг друга бесконечными «а помнишь?». Тем более что вспоминать было действительно много чего. С одной стороны, всем хотелось побыстрее ощутить на плечах офицерские погоны, зримо, так сказать, подтвердить свою самостоятельность. С другой – жаль было расставаться с курсантскими, прикипевшими за пять лет. Ведь больше всего мы боимся сменить привычки...

В тогдашнем ВИИЯ переход ещё от курсантской жизни к офицерской был недолгим и, строго говоря, занимал меньше суток: от окончания последнего государственного экзамена до вручения утром следующего дня дипломов на плацу. Говорят, последний курсантский день запоминается ярче, чем первый офицерский. Тем более что этот первый всегда бывает каким-то вычурным, что ли. Группа Глинского последней на курсе сдавала заключительный «гос» по «дуборошинской» тактике. И самым последним из всех отвечать выпало как раз Борису. Так что он, можно сказать, дольше всех на курсе пробыл курсантом.

А вышло это не случайно. Из мальчишеского озорства и уже взрослой, почти офицерской солидарности одноклассники решили устроить Боре пятерку. Это был, наверное, единственный предмет, который Глинский знал очень и очень средне – недолюбливал он тактику, честно говоря. Считал её факультативным предметом в ВИИЯ. Ну а «дубы», то есть преподаватели кафедры оперативно-тактической подготовки, это отношение чувствовали и обычно долго колебались между тройкой и четверкой. Друзья решили исправить эту традицию и прибегли к маленьким хитростям. Во-первых, Глинского вопреки алфавиту поставили сдавать последним, а Новосёлова предпоследним – так и список составили. Илья-то себе уже практически гарантировал пятерку – его «дубы» явно жаловали: у них существовало негласное правило: командиру группы оценку на полбалла завывать. Для поднятия авторитета. К тому же Илья уже стал полноценным сержантом и из девятимесячной командировки вернулся с медалью «За боевые заслуги». «Дубы» от таких «финдиборций с кондиснарциями» просто млели.

Так вот именно оценкой Новосёлова на предстоящем «госе» вдруг озаботилась вся курсовая общественность – дескать, у Ильи в последние дни зуб мудрости болит, может помешать хорошему ответу. Даже целую делегацию к преподавателям снарядили, мол, войдите в положение, у парня красный диплом горит... А о последнем экзаменуемом, о Борисе, заметили походя эдак: вот о Глинском беспокоиться, мол, не стоит, этому ответить – чистая проформа, этот выучил всё на «ять», даже целую неделю к молодой жене не ходил, явная, пусть и вымученная нечеловеческими страданиями пятерка. А вот бедный Илья...

Это была чистой воды психологическая «разводка», нормальная «психокоррекция», на которую преподаватели тактики вполне повелись. Или сделали вид, что повелись, с удовольствием сыграв отведенные им обормотами-курсантами роли. В общем, после предсказуемого ослепительно-глубокого ответа Новосёлова, да ещё подтверждённого «свежим боевым опытом», двое экзаменаторов тактично удалились из аудитории, говоря остававшемуся полковнику Ионченко об очевидности блестящего ответа последнего курсанта. Раз уж Новосёлов, о котором все пеклись, так хорошо сдал, то уж Глинский-то... Когда Борис остался один на один с полковником, ему вдруг показалось, что Ионченко обо всём догадывается. Николай Васильевич Ионченко вообще был странным «дубом». С одной стороны, он навсегда вошёл в фольклор ВИИЯ фразой: «Малая саперная лопатка предназначена для обустройства

индивидуального укрытия и поражения живой силы противника, а не кого-то там закопать!» С другой стороны, порой он очень тонко и язвительно улыбался, казалось, даже иронизирует над самим собой. У него был длинный тонкий шрам на лбу, а среди орденских планок на кителе – несколько боевых орденов.

Глинский начал что-то отвечать на первый вопрос, когда в аудиторию стали потихоньку «просачиваться» уже сдавшие однокурсники. Полковник только благодушно усмехался, глядя на вроде как маскируемые приготовления к отмечанию последнего «госа». Слушал он Бориса вполуха, и, когда тот перешёл ко второму вопросу, почти сразу махнул рукой и объявил:

– «Отлично», товарищ курсант. Уши вам резать на сей раз не за что.

Тут все закричали «ура!» и начали, уже не стесняясь, звенеть доставаемыми бутылками.

– Товарищ полковник, ведь правда, Глинский здорово подготовился? – хлопая глазами, спросил Новосёлов, у которого как-то разом прошёл зуб. Наверное, от только что полученной пятёрки.

– Правда, товарищ сержант, – усмехнулся в ответ полковник Ионченко. – Хотя, если честно... Я всегда, когда могу, то есть когда ответ не совсем уж безнадёжный, последнему с курса ставлю пятёрку. На счастье, так сказать. В качестве символа последнего юношеского везения. Я думал, вам рассказали про эту мою традицию...

Аудитория взорвалась хохотом – смеялись над собой, конечно же... А полковник Ионченко добродушно смотрел на этих мальчишек, вспоминал собственный послевоенный выпуск и улыбался... К предложению выпить шампанского он отнёсся позитивно, правда, предложил пригласить ещё и начальника курса. Сбегали за Шубенком, накануне ставшим подполковником. Тот для порядка нахмурился, посмотрев на бутылки в аудитории, но сходил за стаканом, после чего произнёс то, что ещё вчера было невозможным:

– Товарищи арабисты, поздравляю! Разрешаю по бокалу шампанского, потом всем сдать военные билеты и получить удостоверения личности. После всем – в «гражданку» и по домам. Построение завтра в восемь часов! Всем выспаться и сиять, как медный пятак!

Выпили, конечно, не по одному бокалу, но хмель почти никого не цеплял. Прощание с военным билетом прошло несколько скомканно: построились, услышали номер приказа о присвоении лейтенантских званий... Некоторые, в последний раз глянув на родной с первого курса номер военного билета, даже прослезились. А офицерские удостоверения брали в руки, как чужие. Наконец, все потянулись в «Хилтон», чтобы там приступить к «народным» и «священным» приготовлениям к завтрашнему выпуску. Ещё с утра Илья Новосёлов, которого уже давно никто не называл Военпредом, притащил солдатскую каску – отцову, с войны, специально присланную из Свердловска. Каску предстояло после вручения дипломов наполнить до половины водкой, сложить туда «поплавки»²¹ и пустить по кругу «для первого офицерского глотка». («Ромбики» потом вынимали наугад – какой чей неважно, это символизировало виияковское братство).

Так вот, для этой торжественной процедуры каску нужно было ошкурить до стального блеска, а потом покрыть золотой краской. Разгорелась целая дискуссия. Некоторые считали, что красить каску нужно и изнутри, и снаружи, другие решили, что только изнутри. Победили те, кто полагал, что снаружи каска должна выглядеть всё же солдатской, а не как шлем Александра Македонского из кинофильма «Джентльмены удачи». Возились с ней долго – шкурили, красили, сушили... Потом спохватились, что у каски нет ремня, за который её предстояло поднять над толпой. Поскольку свои брючные брезентовые ремни сдали вместе с полевой формой, стали думать, где взять. Курсантов младших курсов трогать неудобно.

²¹ Ромбовидные знаки, свидетельствующие об окончании высшего учебного заведения. – *Прим. авт.*

Поэтому ремешок изъяли у солдатика из роты обеспечения учебного процесса, пообещав вернуть сразу после завтрашней церемонии. А чтобы солдатика было веселее, ему доверительно показали тех, кто ночует в «Хилтоне», дескать, отдашь им честь «с самого ранья», когда они уже лейтенантскую форму наденут, получишь денежку.

В те времена существовал обычай – первым трём козырнувшим новоиспеченному офицеру нужно было вручить по металлическому рублю, желательно юбилейному. Все выпускники готовили эти рубли заранее. В «Хилтоне» засиделись до «ой, через час метро закрывается». Не сказать чтобы много пили, просто не хотелось расставаться. На лицах у всех читалась одна мысль: «Эх, если бы ещё денёк... хотя бы один денёк...»

Когда Борис вернулся домой, его встретил только отец. Надежда Михайловна и Ольга уже спали. Отец и сын посидели на кухне, покурили, выпили по рюмке, а потом, пластмассовой офицерской линейкой отмерив расстояние от лацкана до погона, прокололи дырку для ромбика на новеньком, шитом на заказ парадном кителе – так, чтобы дырка не бросалась в глаза, но была готова к привинчиванию знака.

К построению в восемь ноль-ноль никто не опоздал. Наоборот, многие, в том числе Борис, приехали к семи утра. Хотелось ещё раз пройтись по альма-матер, попрощаться со своими памятными местами. Этих чувств ещё по-мальчишески стеснялись. Зато охотно делились историями, кому достались первые лейтенантские рубли. Оказалось, многие их ещё не растратили: солдаты, как на грех, не попадались, а прапорщики в упор не желали замечать зелёных «летёх». Борис вручил пока лишь два – у метро «Бауманская» – какому-то сверхсрочнику-«химдымовцу»²² и оставшемуся накануне без ремня солдатика. Он стоял у КПИ и дисциплинированно отдавал честь всем выпускникам. Поодаль покуривали ротные «деды» – они не мешали «производственному процессу» и подсчитывали выручку...

К восьми часам утра по обе стороны плаца уже бурлила разноцветная толпа: друзья, родители, соискатели лейтенантских сердец, жёны, тётки... Отец и тесть Глинского пришли в парадной форме. Женщины тоже не ударили в грязь лицом. Борис заметил, как однокурсники поглядывали на ножки его жены, и только внутренне хмыкнул. Потому что «сексуальный прогресс» у Ольги шёл с трудом. Если вообще шёл. Но эта грустная мысль быстро растворилась в праздничной суете, в поздравлениях и объятиях на всю оставшуюся жизнь. Подполковник Шубенок деловито раздавал поздравительные открытки от преподавателей, не сумевших прийти на вручение дипломов. Наконец, через всю эту суету в начале девятого на плац вынесли два столика с кипами дипломов и коробочками с «ромбиками». Столы окружили офицеры из экзаменационной комиссии и кадрового и строевого отделения – столпились так, будто кто-то из выпускников мог подскочить, схватить диплом и убежать.

Прозвучала команда «строиться». Строились долго. Замначальника института оценивающе глянул на часы:

– Равняйся! Смир-на!

Оба курсантских курса («западники» и «восточники») и один офицерский (спецпропагандисты – «спецпропагандоны») замерли. Из-за поворота появился начальник института с целой свитой гостей. Среди них Борис увидел отца и тестя, они шли чуть позади всем известного космонавта.

– Знамя вынести! Равнение на знамя!

Сабли знамённой группы сверкнули на солнце. Все замерли. Начальник института произнёс пафосную, хотя, слава богу, недлинную речь, а потом, почти без паузы, вызвал из строя медалистов-краснодипломников. Их было пятеро, и среди них стоял сержант Илья Новосёлов. Они предстали перед генералами, олицетворяя собой курсантскую заповедь: лучше быть с синим дипломом при красной роже, чем наоборот...

²² Из соседней от метро Академии химзащиты. – *Прим. авт.*

Долго играли туш... Потом начальник института начал вызывать остальных по алфавиту. И вот:

– Лейтенант Глинский! Ко мне! Поздравляю с окончанием Военного института иностранных языков и желаю успехов в дальнейшей службе!

– Служу Советскому Союзу!

– Встать в строй!

Дипломы генерал брал из рук невозмутимого кадровика. Потом начальник института притомился и остальных вызывал-поздравлял уже не так торжественно. Да и туш уже играли невпопад... Когда дошла очередь до последнего, все изрядно подустали. Потом оркестр отыграл гимн, и раздалось протяжное:

– К торжественному маршу! Повзводно! Первый взвод прямо. Остальные – нале-ВО! Шаго-ом марш!

Приближаясь к трибуне, лейтенанты сцепились мизинцами под «и-и-и... раз!». А через двадцать шагов выкрикнули: «и-и-и-и... Всё!» вместо «и-и-и... два!». Это «всё» эхом звенело в «Прощании славянки». В зрительской толпе многие заплакали. Вот и всё... Финальная точка.

– Вольно! Приказываю поздравить родителей!

Некоторые жёны завозмущались: почему, мол, только родителей? И снова смех, вспышки фотокамер, объятия. В суматохе чуть было не забыли про каску с «поплавками». По плотку хватило всем...

Вечером собрались курсом уже в ресторане «Будапешт». Там было как на свадьбе, только с шестьюдесятью женихами. Правда, родителей не приглашали, друзей тоже, только жёны и офицерские невесты, то есть те, с кем уже поданы документы в загс. Ольга щебетала со своими «коллегами» вполне уверенно. Она по такому поводу даже разрез на длинной юбке сделала и пуговицы выше пришила. В память чужого для арабистов, но тут вполне ими понимаемого китаиста Бориса Григорьевича Мудрова история запечатлела самый афористичный тост: «У меня было три любимца. Лёша Ефремов копал вглубь. Серёжа Репко (тот самый Репс) – вширь. А „араб Борух“ – вглубь и вширь одновременно, постоянно проваливаясь в выкопанное...»

После пятого тоста Борису вдруг показалось, что он увидел Виолу. Он даже вскочил, но, как ни крутил шеей, найти в ресторанной суматохе её лицо не смог. Может, и показалось...

Наконец-то подъехал начальник курса, поздравил каждого лично и сказал сакраментальное:

– Время, когда можно было закосить под дурачка, – прошло!

Ему устроили овацию. В двадцать три ноль-ноль лейтенанты, чтобы не привыкать к «ресторациям», сами себе устроили последнюю вечернюю поверку на Красной площади. Правда, туда добрались уже не все. Некоторых, особо «уставших», увезли домой жёны. На Красной площади москвичи-холостяки демонстративно перед женатиками обменивались ключами от родительских квартир: «мой дом – твой дом». Договаривались обязательно встречаться каждые пять лет. Непременно в главных «виияковских» банях – Хлебниковских, у заставы Ильича. Наверное, навевала «Ирония судьбы», ставшая неформальным символом второй половины семидесятых...

Выпускникам сообщали место будущей службы в индивидуальном порядке – кому в течение месяца, а кому – даже трёх. Так что к выпуску большинство уже знали о своих назначениях. Многих китаистов даже поздравлять было как-то неудобно... Они, кстати, заблаговременно придумали про себя притчу об угасающих надеждах: «На первом курсе ВИИЯ готовит кадры ООН, на втором – военных атташе, на третьем – разведчиков, на четвертом –

переводчиков, на пятом – командиров взводов». По этому поводу на Красной площади хором спели переделанную песню на мотив «Mrs Vanderbilt»: «Пролетели все пять лет – получай в Читу билет. / Если хочешь, можешь взять диплом... / Хоп! Хей-хоп...»

Впрочем, и «арабам» было что ответить традиционно креативным китаистам. Мудрости Боруха курс обязан не менее глубокомысленным пророчеством: «Когда часы последние пробьют, / И расставаньем в воздухе повеет, / То помните: в „арабии“ нас ждут, / Но, говорят, в Марах ещё сильнее...» Большой части арабистов предстояло для начала познакомиться с учебными центрами или бюро переводов при военных вузах. Чтобы только через несколько лет отправиться в вождеденную «арабию».

Хотя кое-кому посчастливилось с неё и начать. Со всего курса в Москве оставались единицы. Среди этих счастливцев был и Боря Глинский. Он узнал об этом перед самым выпуском от тестя. Именно генерал-полковник Левандовский по-родственному сообщил, в какой «конторе» предстояло служить Борису... Глинский с сочувствием смотрел на смеющихся сквозь слёзы однокурсников и думал, что его судьба уже predeterminedена и устроена.

Часть II Разведка

1

Положенный Борису после выпуска отпуск пролетел быстро, да и слава богу, как говорится, что быстро. Совместная с Ольгой поездка на юг была наполнена лишь солнцем и морем, но не любовью. Нет, Глинский постепенно вроде как даже притерпелся к сексуальной холодности супруги, он даже утешал себя мыслями о том, что и у самого Александра Сергеевича Пушкина с Натальей Николаевной поначалу не очень-то зажигалось... Но на самом-то деле даже Пушкин не мог развеять прочно поселившуюся в душе Бориса тоску.

Честно говоря, Ольга и так-то не была его романтической грёзой, а уж подслушав однажды случайно её жалобы по телефону маме на «садистские наклонности мужа», Глинский и вовсе скис. Супруга «товарища» Пушкина хотя бы телефонной связи была лишена...

Так что Борис еле дождался дня, когда ему надлежало явиться к новому месту службы.

«Контора», куда Глинского пристроил тесть, в документации именовалась обыкновенной войсковой частью с пятизначным номером, хотя на самом деле была научно-исследовательским центром Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР. При этом внешне в этой части ничего такого «разведческого» в глаза не бросалось. И никакой особой «таинственной атмосферы» не ощущалось. Ну часть – и часть. Много таких. Правда, в этой части почти не было солдат – сплошь одни офицеры. А ещё Борис очень удивился тому, что официально, по документам, никакого ГРУ как бы и не существовало, потому что слово «разведывательное» просто опускалось. И получалось просто Главное управление Генерального штаба. Как говорится, пишете письма.

Кстати, офицеры центра именно писаниной и занимались, потому что в «конторе» обрабатывалась информация про всё, что требуется знать о «вероятном противнике». Разумеется, в основном речь шла о более-менее открытой информации, из которой, впрочем, тоже можно было выудить немало полезного. Начальник Бориса, майор Беренда, постоянно об этом напоминал. Петр Станиславович слыл главным «конторским» занудой и изводил молодых лейтенантов бесконечными рассказами о том, сколько ценного и важного разведчики разных стран просто вычитывали из обычных газет вражеских государств.

– Вы представляете? Это из га-зет! А у вас материалы радиоперехватов! Да вы, как те курочки, должны просто нестись золотыми яйцами! А вы не то что золотым яйцом покакать, вы обобщающее донесение по-русски-то грамотно написать не можете!

Молодые офицеры только вздыхали, зная, что спорить с Петром Станиславовичем не только бесполезно, но и чревато. Тем более что у него действительно многому можно было поучиться, прежде всего «несоветской» какой-то эрудиции, а ещё логике и ясности в изложении, а стало быть, и в мышлении. Кроме этого – невероятной, просто нечеловеческой грамотности. Беренда слыл ведь не только главным занудой, но и лучшим редактором «всех времён и народов». На совещаниях он карандашными пометками машинально правил даже директивы главка. Правил без позы, без желания выпендриться, а чисто автоматически, просто потому, что здесь нужна точка с запятой, а не просто запятая, а вот тут «не» пишется слитно, а в этой фразе – лишняя «бы»... Не очень уже молодой майор считал, что всё должно быть правильно – и по языку, и по инструкциям, и по жизни: то есть не выделяться, ни с чем никогда не опаздывать, «зримо блюсти социалистическую нравственность», быть умеренным и аккуратным во всем.

Кстати, по поводу «социалистической нравственности», – Беренда чуть ли не на третью неделю службы Бориса намекнул ему, что стоит «умерить экзальтацию» по поводу «несоветской эстрады».

У Глинского вообще сложилось впечатление, что Беренда его как-то сразу невзлюбил. Может быть, за то, что Бориса в «контору» устроил по благу тесть? Ну так Глинский был не один такой. Среди молодых офицеров центра почти никого не было совсем чтобы уж «от сохи»... А может быть, эта неприязнь была связана не столько с Борисом, сколько с его тестем, генералом Левандовским? Как бы то ни было, но майор Беренда редко принимал донесения Глинского даже с третьего предъявления. Обычно всё происходило примерно по такому сценарию: Глинский заходил в единственный в здании треугольный кабинет, где за круглым журнальным столиком сидел этот самый Беренда, и отдавал ему донесение. Петр Станиславович, попыхивая «Беломором», внимательно читал, хмыкал, наконец, поднимал глаза на стоявшего навтыжку Бориса и изрекал с непередаваемым сарказмом:

– Товарищ лейтенант! Вы-то сами читали, что мне принесли: «Президент Франции Миттеран сообщил министру обороны ХЕРНЮ» – и далее по тексту... Уточните, о какой, как вы настаиваете, «херне» следует доложить начальнику ГРУ?

Глинский покрывался красными пятнами, но сдаваться не собирался:

– Товарищ майор! Если вы о фамилии, то я по справочнику проверял. Вот, посмотрите: по-французски – Нерну.

Беренда презрительно поджимал губы:

– А теперь пойдите и проверьте по «Красной Звезде», как у нас принято по-русски писать эту французскую фамилию! И вообще, не плохо бы вам освоить хотя бы газетный французский. Мозги-то свежие...

Борис шёл, проверял, разумеется, оказывалось не «Херню», а «Эрню». Шарль Эрню. Беренда никогда не ошибался. Как биоробот.

Постепенно Глинский всё же стал делать успехи, и его донесения принимались уже не с третьего, а со второго, но пока ещё не с первого предъявления.

Приобретение профессиональных навыков Бориса не очень-то радовало. Точнее, радовало, но... Вот в этом «но» и было всё дело. Скучно было лейтенанту Глинскому. И не только скучно, но и немного страшно – что вот в таком прилежном составлении донесений и пройдет вся его жизнь. Старайся, будь аккуратным, будь таким, как все, и, может быть, переживёшь и Беренду. И дослужишься как минимум до майора. А если повезёт – поступишь в «консерваторию»²³. И всегда, если что-то не сложится, можно найти себе оправдание – мол, служил где Родина приказала. Надеялся стать «бойцом невидимого фронта». Поэтому нигде не светился и вообще... И вообще жил под грифом «секретно»... Короче, шикарность распределения в Москву уже через год службы обернулась для Глинского зелёной тоской.

Однажды Борис обрабатывал смешной такой радиоперехват – американцы сообщали о международном военно-морском происшествии. Наш БПК²⁴ «Очаков» шёл через Босфор. А по международным правилам, скорость прохождения узких проливов не должна превышать 5 узлов. Наши «отличники» превысили её почти вдвое. При этом волной от винтов чуть не смыло турецкую свадьбу человек на восемьдесят, были перевёрнуты почти все рекламные щиты на берегу и утоплено с десятков катеров и лодок. Американский коллега докладывал своему руководству: «Нештатное сближение корабля с берегом произошло, судя по всему, из-за музыки, не позволившей своевременно услышать и исполнить поданную

²³ Уже упомянутая Военно-дипломатическая академия считалась мечтой и смыслом службы молодых ГРУшников. – Прим. авт.

²⁴ Большой противолодочный корабль.

команду Предположительно, замполит „Очакова“ приказал включить на полную громкость „коммунистическую“ песню „Do the Russians Want a War?“ („Хотят ли русские войны?“).

По поводу этого донесения Глинского рассмеялся даже Беренда. Впрочем, «рассмеялся» – это не совсем то слово. Хмыкнул несколько раз, сделал пару пометок неизменно оточенным карандашом и вернул Борису текст на переписывание. Борис вернулся за свой рабочий стол и обхватил голову руками, уставившись в лист бумаги невидящими глазами:

«Боже мой... Я тут просто сойду с ума, в этом бумажном сарайчике... Вон у людей какая жизнь интересная – через Босфор ходят, волны поднимают... Свежий ветер – солёные брызги. А тут... Сидишь, как крыса, бухгалтерских нарукавников не хватает...»

Глинский чуть не застонал в голос. Нет, он, конечно же, понимал, что времена героев-одиночек типа Пржевальского прошли. И всё же... Романтика дальних странствий манила. Борис, кстати, однажды побывал в октябрьские праздники в Ленинграде и, возвращаясь с концерта во дворе спорта «Юбилейный», в поиске фирменного питерского мороженого – «сахарной трубочки» – наткнулся на памятник Пржевальскому в Александровском саду. Памятник – занятный такой, с верблюдом, а не лошадью. Глинский неожиданно для себя долго стоял у этого памятника, откусывал «трубочку» и размышлял, кто и зачем положил к верблюду букет красных гвоздик.²⁵

Борис жевал мороженое и, стыдно признаться, мечтал... Нет, ну пусть такие путешествия уже не совершить, но всё же... Почти все сокурсники-«арабы» уже уехали за границу. Про «персов» и говорить нечего – уже началась война в Афганистане, и уже даже успела прижиться пришедшая оттуда традиция третьего тоста – когда первые потери появились... Борис не то чтобы завидовал своим однокурсникам (живым, естественно, а не погибшим), но... Чем он дольше служил в центре, тем чаще вспоминал произнесенную когда-то отцом старую, ещё дореволюционную офицерскую заповедь: «Чин присваивает государь, а утверждает война. Она рассудит, кто ты: „служака“, „чинохват“, „шляпа“ или „ни к чёртовой матери“» – такой была «окопная» классификация русского офицерства в Первую мировую войну...

Борис попытался сосредоточиться на донесении, но у него ничего не получалось, накопело видать. Трудно месяцами напролёт сидеть, не высовываясь, и молчать в тряпочку. А страна между тем воюет. Впрочем, страна воевала всегда.

...В тот вечер Глинский пришёл к тестю с серьёзным разговором, дескать, не поможет ли Петр Сергеевич съездить куда-нибудь переводчиком, хотя бы в ту же Сирию, которую он толком-то и не видел. Борис говорил, что без практики начинает забывать «родной арабский», зато неплохо освоил второй для Сирии французский (в этом, кстати, ему помог не столько Беренда, сколько Джо Дассен с его разрешёнными в СССР песнями). Просьбу свою Глинский мотивировал ещё и тем, что он, как глава молодой семьи, должен пытаться и заработать что-то в расчете на возможное появление детей.

Генерал Левандовский слушал его, ни разу не перебив, и потом молчал ещё долго, когда у Бориса уже иссяк поток аргументов.

Затем Петр Сергеевич медленно встал, достал из бара бутылку коньяка, налил два бокала и вернулся к столу:

– Давай, зятёк, чокнемся.

Выпив, он помолчал ещё немного (видно было, что затеянный Борисом разговор генералу совсем не нравится) и сказал:

²⁵ День военной разведки приходится как раз на 5 ноября. А в разведуправлении Ленинградского военного округа в те годы существовала традиция неформального возложения цветов к памятнику самого «засветившегося» из их коллег. – *Прим. авт.*

– Вкусный коньяк? Вкусный... Хотя и армянский, а не французский... А всё-таки коньяк, натуральный, качественный... Говорят, армянский коньяк Черчилль любил. Ну да бог с ним, с Черчиллем... Ты вот в Мары, говоришь, ездил, и что вы там пили? «Чашму» за двадцать копеек литр? «Чемен»? «Кто не пьёт „Чемен“, тот не джентльмен, а кто его пьёт – долго не живёт...» Смешно, да? Ты что, хочешь Ольгу с собой в пустыню забрать? Не надейся, она с тобой не поедет. Ей ещё в аспирантуру поступать... А без жены в пустынях этих... Да ты и сам всё понимаешь... Сирия, конечно, не Мары, но тоже, знаешь, не Европа. И что в этой Сирии заработать можно? Больше, конечно, чем в Союзе, но всё равно копейки... А я хочу, чтобы на следующем месте службы не я тебе мог коньяк налить, а ты – мне, и не армянский, а французский. Улавливаешь разницу? И если тебе всё равно, то мне – нет, я не хочу, чтобы мои внуки жили в пустыне! Научись ждать. Место, о котором я тебе намекаю, – «вы-па-сы-ва-ют»! Потому что желающих много. Очень много.

Французский коньяк всем нравится. Даже тем, кто его никогда не нюхал. И кстати, этим-то в первую очередь он и нравится. В мечтах...

Ты должен пойти на хорошее, на надёжное место – надолго, основательно. В Европу или... Там посмотрим. И идти надо через «консерваторию», а для этого в центре зарекомендовать себя как следует. Послужить ещё года три, там, или четыре... Чем тебе Москва-то не угодила? Над тобой же не каплет... Однокурсники все уехали, понимаешь. Ты б видел, куда они приехали! Как в том анекдоте – так им, дуракам, и надо!²⁶

...В Сирию он захотел... Ну съездишь на два года, а что потом? Как белка в колесе, от командировки в командировку, пока где-нибудь своё «счастье» меж барханов не поймашь? А Ольга соломенной вдовой будет детей подымать? А я не вечен! И твои родители – тоже. В Сирию, понимаешь, захотел, все голодранцы туда поехали, а его, видите ли, не взяли, дома оставили, как маленького... Ты и впрямь как маленький. Ты думай, с кем тебе по пути, а с кем – нет. И не о себе думай в первую очередь, а о родных... Всё, разговор окончен. А если начальство по дури прижимает – скажи. Я разберусь. Прижимает?

Борис покачал головой. У него горели щеки. Ему почему-то было неловко, и не из-за того, в чём его тесть пристыдил, а как раз за то, что говорил генерал. И воспользоваться удобным моментом, чтобы «накапать» на Беренду, Глинский не смог. Борис ещё раз покачал головой, уже увереннее:

– Да не то чтобы прижимает. Просто этот наш Беренда – он требовательный очень. Настоящий педант. С ним тяжело, но он – всё по делу...

– По делу, говоришь? – Генерал Левандовский налил себе второй фужер коньяку – под срез. И вдруг неожиданно сказал: – Этот твой Беренда в своё время очень серьёзную карьеру мог сделать. Да только всё кончилось в один миг. По двум причинам. Первая – это то, что он в Москве в своё время не закрепился. Связями устойчивыми не обзавёлся. Вот как ты сейчас – ещё не доказал семье, что можно на такого положиться. Да, семья! Я знаю, что говорю. А вторая причина – гордыня его.

– Гордыня у Беренды? – поразился Глинский. – Он же живет по принципу – чем незаметнее, тем правильной!

Тесть усмехнулся, выпил фужер залпом, отдышался и рассказал через долгие паузы (чтоб не сболтнуть лишнего) удивительную историю.

Дело было в одной из «просвещённых» европейских стран. В библиотеке столичного университета, в отделе славянских рукописей, трудились два сотрудника, командированные

²⁶ Генерал Левандовский вспоминает советский анекдот времен массового выполнения интернационального долга в разных странах: посылают одного офицера в Африку. Вскоре от него в часть начинают приходить письма сослуживцам: «У меня все – о'кей: курю „Мальборо“, пью виски, езжу на джипе...» Один из сослуживцев после этих писем тоже начинает правдами и неправдами добиваться командировки в Африку. Добивается, уезжает. Потом присылает в часть письмо: «У меня все – супер: пью джин, курю „Кэмел“, езжу на „тойоте“... В общем, так мне, дураку, и надо!» – *Прим. авт.*

Академией наук СССР. И вот так вышло, что местная контрразведка, как говорится, «по факту» установила «несовместимую со статусом деятельность» одного из этих «славистов». Скандал вышел довольно серьёзный, ведь удалось зафиксировать контакты советника премьера этой страны с советской разведкой. Контакты эти проходили как раз в библиотеке, через тайник, оборудованный в помещении, куда имели доступ оба «слависта». Контакты-то были установлены неопровержимо, и тайник удалось накрыть – его даже по телевидению показали, но, как это часто бывает, было одно «но» – не было ясности, кто именно «снижал» тайник. Слишком поторопились местные контрразведчики, не успели пронаблюдать. А поскольку в том помещении, где его обнаружили, «слависты» работали по очереди (второй в это же время дежурил в советском культурном центре), выходило так, что на двоих у них было только одно алиби. Москва в то время активно искала сближения с этой страной и делала всё, чтобы замять скандал, возникший очень не ко времени. Да и «принимающая сторона» тоже вдруг прекратила раздувать это дело и подала советской стороне внятный сигнал: уберите, мол, одного из этих «филологов-архивариусов», и вопрос будет закрыт. Это означало, что одному из этих двоих придётся возвращаться в Союз – то есть фактическую «засветку» в принадлежности к советской разведке. Это означало клеймо на всю жизнь во всех странах Запада и крест на всей зарубежной карьере, без права на «международную научную реабилитацию». И вот, кому именно возвращаться в Москву, эти двое должны были решить сами, то есть разобраться между собой.

Нет, Москва, конечно, могла вынести и собственный вердикт – после «разбора полётов», после объективных докладов одного и другого... Но на это не было времени. Скандал надо было гасить срочно. А старшим по возрасту и опыту в этой парочке был как раз Беренда, и он воспользоваться своим старшинством не смог. Гордыня его обуяла, как же – вдруг кто-то подумает, что он специально коллегу «подсидел». Просто корнет Оболенский! В общем, Беренда взял всю ответственность на себя, доложил начальству, молча собрался и уехал. Хотя «накосячил»-то как раз второй, а Беренда лично не только ни в чём не прокололся, но и даже многократно предупреждал напарника о допущенных им ошибках. Вот так Беренда попал в центр – что называется, без особых перспектив выбраться оттуда... А второй «ученый-славист» остался трудиться над рукописями, доработал командировку до конца, защитил диссертацию и уехал без «засветки» и дипломатических осложнений...

Услышанная история произвела на Бориса сильное впечатление. Тесть-то рассказывал её с явной назидательной иронией, с насмешкой над Берендой, но Глинский всё равно увидел своего начальника совершенно в ином свете. Борис увидел не дурачка, погубившего свою карьеру из-за гордыни, а настоящего офицера почти с «белогвардейским» представлением о чести, буквально следовавшего правилу: «сам погибай, а товарища выручай»...

Как звали второго «слависта», Левандовский, разумеется, не уточнил, да и имя этого в ту пору капитана ничего бы Глинскому не сказало. Этого человека звали Андреем Валентиновичем Чельшевым, и в судьбе Бориса он сыграет очень важную роль. Но это произойдет лишь через несколько лет, а когда произойдет, Глинский так доподлинно и не узнает, что вёл речь генерал Левандовский именно о Чельшеве...

Борис заверил тестя, что всё понял, и откланялся, несмотря на настойчивые приглашения заночевать. Глинскому хотелось поделиться своими мыслями с отцом.

Генерал Глинский предлагать сыну коньяк не стал – дома была только водка, её-то он и налил сыну и себе. Бориса он выслушал спокойно, не перебивая, и, в отличие от Левандовского, раздражаться не стал. Лишь вздохнул с усмешкой:

– У Петра Сергеевича на погоне звёзд больше, чем у меня, это так... И он тебе, конечно, желает добра... Но вот что я тебе скажу, сынок. Наш род – это потомственные служаки. Твой прапрадед, как ты знаешь, ещё в Балканскую кампанию против турок воевал. Так вот он рассказывал, что в войне побеждали не те, кто слушался, а кто заставлял себя слушать,

если своё имя, да и заодно судьбу на кон ставил. Ты уже взрослый, сын. И если ты мужчина, решай сам, а если решишь, то ни у кого не спрашивай. Только решай осмысленно, не сгоряча. Ладно, пойдём спать, лейтенант. Утром нам с тобой обоим на службу...

Легко сказать «решай сам». В конце концов, Глинский сам себя в командировку в Сирию послать не мог. А если поговорить с майором Берендой? В свете рассказанной тестем истории Петр Станиславович, возможно, понял бы тоску Бориса по настоящему делу, ведь и сам майор когда-то был на переднем крае. И превратился в «центровую Тортиллу» лишь после того, как его «сбили»... Глинский ждал случая, чтобы поговорить с начальником по душам, а время шло – недели, месяцы...

А потом случилось то, из-за чего Борис резко расхотел уезжать из Москвы в дальнюю командировку.

В столицу тогда на гастроли американский джаз приехал, тесть два билета достал для молодых. Однако у Ольги в последний момент вдруг «разболелась голова», и Глинский пошёл на концерт один, хотя и порывался остаться дома с женой из солидарности. Но супруга его практически вытолкала из дому, сказав, что хочет спокойно полежать одна в тишине. Ну одна, так одна. Мать, как всегда, задерживалась на работе, тёща с тестем джаз не любили, так что в Кремлевский дворец съездов (а именно там проходил концерт) Глинский отправился в одиночестве. Концерт оказался очень даже неплохим, хотя про выступавшую группу Борис раньше не слышал. Ну да он и не был совсем уж ярым поклонником джаза. В перерыве между отделениями Глинский вышел в буфет и буквально нос к носу столкнулся с Виолой. Они оба замерли, потом Виола сделала слабую попытку уйти, но Борис просто схватил её за руку. Виола ойкнула от рывка и уткнулась Глинскому лицом в грудь, впрочем, тут же вырвалась:

– Что ты делаешь? Я... Я тут не одна!

Борис отступил на шаг:

– Прости... Это я от неожиданности... А ты с мужем?

– А ты с женой? – тут же парировала Виола.

Глинский покачал головой:

– Нет, я один. Слушай, рядом со мной кресло свободное – может быть, вместе посидим?

– Я же сказала, что не одна.

– Значит, всё-таки с мужем?

– С подружкой. Но это ещё более стрёмно. А замуж я не вышла. Пока.

И она в подтверждение своих слов пошевелила пальчиками перед лицом Бориса: видишь, мол, никакого обручального колечка, одни только перстни золотые.

Глинский, плохо себя контролируя, схватил её пальцы и начал их целовать.

– Боря! Боря! Боря, ты что делаешь, люди же смотрят! Боря!

Виола шептала что-то урезонивающее, но пальцы какое-то время не вырывала из ладоней Глинского. Впрочем, она быстро опомнилась:

– Всё, мне надо идти. Боря, мне правда надо!

– Что, вот так просто возьмешь и уйдешь?

Виола глубоко вздохнула, как перед нырком. Борис думал, что она скажет какую-нибудь очередную колкость, но вместо этого молодая женщина тихо и даже как-то обреченно произнесла:

– Триста восемнадцать, пятьдесят один, восемьдесят девять.

Потом Виола повернулась и ушла, быстро растворившись в толпе. Обалдевший Глинский даже не пытался её преследовать. Он лихорадочно записал новый телефон Виолы прямо на ладони, вздохнул со счастливым облегчением и пошёл к буфетной стойке. Там он взял сто грамм коньяку, чтобы успокоиться, а когда выпил и слегка расслабился, начал с любопытством разглядывать зрителей, подсознательно надеясь ещё раз увидеть Виолу. Её

он, однако, не нашёл, зато случайно разговорился с одним американцем явно азиатского происхождения – тот почти не знал русского языка, и Борис помог ему объясниться с буфетчицей. Этот американец так расчувствовался, что даже захотел сфотографироваться с Глинским, пребывающим в полной эйфории. Если бы не эта радость от встречи с Виолой, Борис бы, наверное, всё же уклонился от совместного фотографирования с иностранцем, но, как гласит не самая приличная, но всё же народная мудрость: если бы у бабки были бы член и борода, то это был бы дедка.

После окончания концерта Глинский сумел убедиться в качественности работы советской контрразведки – несмотря на то что он был в «гражданке», контакт с американцем не остался незамеченным. На выходе из Дворца съездов милиция дотошно, с записью проверила у него документы, а уже наутро в центре Борис, доложив о несанкционированном контакте с иностранцем, сел писать подробную, как потребовал Беренда, объяснительную. Дойдя до третьего листа, он долго размышлял над вопросами: кто и когда заинтересовал его западной музыкой, где он достаёт и у кого переписывает магнитофонные записи и кому пересказывал содержание «американских» песен.

В общем, отголоски «несанкционированного контакта» долго не затихали. Взыскание объявлять Борису не стали, а вот с заявлением в партию рекомендовали подождать, мотивировав «совет» тем, что «молодой офицер ещё ничем себя не проявил». Впрочем, все эти служебные неприятности Борис пережил легко, его мысли и чувства были заняты восстановлением отношений с Виолой. Впрочем, назвать это «восстановлением» было бы, наверное, не совсем правильно.

То есть в койке-то они оказались достаточно быстро – через пять дней после концерта. А вот вернуть то, что когда-то было в полной мере, так и не смогли. Наверное, за прошедшее время они оба изменились и тосковали по тем образам, которые хранила память. Долгая разлука всё же чаще разрушает любовь, чем делает её ярче. К тому же у каждого продолжалась своя жизнь, в которую другой ну совсем не вписывался. Глинский догадывался, что у Виолы есть другой мужчина, и аж заходил от ревности, Виола платила ему той же монетой, частенько совсем нехотая помянув Ольгу Короче говоря, в этих их новых отношениях нервов и слёз было больше, чем счастья. Когда-то их закружил водоворот любви «запретной», но искренней и оттого свободной, а теперь... Теперь в их отношениях было слишком много чего-то вороватого... В общем, старая история: когда тебе не сильно за двадцать, вдвойне тяжело спать с одной, а ласкать другую. И дело тут не в аморальности. Бориса не то чтоб допекали муки совести – нет, просто он ощущал себя как в тюрьме. Заключенным, которого из камеры иногда выпускают погулять в тюремный дворик. А из него не всякий раз можно солнышко увидеть, чаще дождь накрапывает, а отказаться от прогулок всё равно неумоготу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.